

**КОЛЫМА ТЫ МОЯ, КОЛЫМА...**



**СЕМЕН БАДАШ**

Семен БАДАШ

КОЛЫМА ТЫ МОЯ, КОЛЫМА...



**СЕМЕН БАДАШ**

**КОЛЫМА ТЫ МОЯ,  
КОЛЫМА...**

**документальная повесть**

Effect Publishing Inc.  
New York  
1986



Semeyon BADASH  
Kolyma ty moia, Kolyma...  
a biographical novel

Library of Congress Catalog Card Number: 85-081009  
ISBN. 0-911971-14-9

© by author, 1986  
© Russian edition by Effect Publishing Inc. 1986.

Глава 7-ая была опубликована в журнале  
„Континент” № 36, 1983 г.

Cover design by Vagrish Bakhchanyan  
Обложка работы Вагрича БАХЧАНЯНА

EFFECT PUBLISHING , INC.  
501 Fifth Ave.  
New York, NY 10017

## Предисловие

*Книга Семена Юльевича Бадаша — еще один человеческий документ о жестокостях коммунистической системы, еще одна разрушенная жизнь, еще один памятник жертвам ГУЛага. Мемуары бывшего зэка вливаются в устоявшийся уже жанр лагерной литературы, где само „определение жанра теряет смысл, ибо лагерную литературу пишут бывшие зэки. Они выбирают либо прямое свидетельство, либо опосредственную форму. Но всегда стремятся передать подлинные человеческие страдания, пережитые лично. Становится недействительной иерархия жанров. Остаются талант и неотделимое от него желание сказать правду о себе и окружающей действительности”*\*

*Автор писал свои воспоминания в Москве, зимой 1979/80 года. После своей эмиграции на Запад никаких изменений в первоначальный текст он фактически не вносил. Все имена и фамилии, упомянутые в мемуарах С. Бадаша — подлинные. Некоторые, по понятным соображениям, обозначены лишь инициалами.*

*Особый интерес читателя должны вызвать страницы, посвященные забастовкам в Экибастузе в 1952 г. и Норильскому восстанию 1953 г., в которых принимал участие автор. Об этих событиях известно крайне мало.*

Мемуарной литературой они до сих пор оставались не описаны. И эту часть своих мемуаров С. Бадаш писал как бы в ответ на призыв А.И. Солженицына, сделанный в „Архипелаге ГУЛаге“: „... как наступит пора, возможность соберитесь друзья уцелевшие, хорошо знающие, да напишите рядом с этой еще комментарий: что надо — исправьте, где надо — добавьте... помощи вам Бог”\*\*.

Таким добавлением к „Архипелагу ГУЛагу”, „Колымским рассказам” Шаламова и „Крутому маршруту” Е. Гинзбург, штрихом в монументальном труде о лагерях, станут и мемуары С. Бадаша, которые, как мне кажется, читатель прочтет с большим интересом.

Юрий Фельштинский

---

\* Из статьи М. Геллера, журнал „Обозрение”, №5, 1983 г.

\*\* А. Солженицын, „Архипелаг ГУЛаг”, изд. ИМКА-Пресс, т.3, стр. 580.

Эта книга посвящается:

*Моим родителям: покойной Елизавете Осиповне и  
Юлию Акимовичу Бадаш.*

*Моей первой жене, покойной Веронике Андреевне  
Воронкиной.*

*Моей старшей дочери Ирине и младшему сыну Борису.*

*Всем друзьям, прошедшим со мной рука об руку по  
островам Архипелага.*





## *Глава первая*

### МОСКВА ПОСЛЕВОЕННАЯ

... Шел первый послевоенный 1946 год. Москва, как и вся страна, жила продовольственными карточками. На мясные талоны в очередях „давали” селедку, на сахарные — соевые конфеты. Влажный хлеб с многочисленными примесями — на отдельные хлебные карточки. На большущие денежные купюры, черные сотенные и красные тридцатирублевые с изображением вождя революции купить было нечего. Инфляция железным обручем охватила всю страну-победительницу. С окон многих домов еще не были сняты бумажные крест на крест полоски военных лет. Кое-где шла расчистка разрушенных в первый год войны домов. Зато Тишинский рынок и сквер возле него напоминали толкучку старой Сухаревки. Здесь можно было купить все, начиная от хлебных карточек и кончая дорогими мехами, коврами. Одни продавали, а другие скупали облигации государственных и военных займов за десятую номинальной их стоимости. Поговаривали, что тайком продавались даже медали и военные ордена. Самые

дорогие вещи скупались вынырнувшими из-под земли в столице „артельщиками-надомниками”, бежавшими с Украины и Белоруссии. Они занимали целые кварталы частных деревянных домов в районе Останкино и Черкизово и, пользуясь разрешением властей, на своих примитивных домашних станочках выделывали массовый трикотаж. Власть поощряла артели и кустарничество, так как сама не могла ничего предложить народу.

Контингент новых москвичей, именуемый „трикотажниками”, по вечерам заполнял кафе и рестораны, где „по коммерческим ценам” пили, ели, развлекались. Днем приезжие и москвичи сливались в одну серую толпу.

У Малого театра, возле памятника Островскому, мальчишки выкрикивали „есть импортные!” и доставали из-под полы нейлоновые дамские чулки никому неизвестной американской фирмы Дюпон. Это были мелкие шавки крупных спекулянтов, связанных с военными американскими и английскими миссиями в Москве. По городу изредка проезжали неуклюжие ЗИСы-101, городские такси с громадными ящиками-счетчиками у лобовых стекол. В Большом зале консерватории был объявлен впервые концерт американской музыки. Симфонический оркестр должен был с солистом, известным пианистом Александром Цфасманом, исполнить произведения Джорджа Гершвина „Рапсодию в стиле блюз”, отрывки из „Порги и Бесс”, произведения Антейла, Блоха и других американских композиторов. Все здание консерватории было украшено американскими и советскими флагами. Толпы желающих попасть на концерт. Билеты распределялись среди дипкорпуса, военных миссий и среди „богема социалистического реализма”. Мне удалось попасть на концерт, прошмыгнуть мимо контролера. Александр Цфасман блестяще исполнил всю программу. С американской музыкой я был уже немного знаком по передачам „Голоса Аме-

рики”, которые, как и Би-Би-Си, не глушились. В нашей комнате снова появился старый детекторный приемник. В начале войны он был сдан родителями по приказу властям на хранение.

В старом особняке на улице Веснина расположилась редакция „Британского Союзника” — английской газеты, издававшейся на русском языке и свободно продававшейся, как и журнал „Америка”, во всех киосках города. (В 1948 году этот особняк заняло посольство Израиля. До этого израильтяне несколько месяцев жили в гостинице „Метрополь”, вывесив у входа свой национальный флаг). В газетах и по радио постоянно подчеркивалась нерушимая дружба народов США, Англии и СССР. На экраны вышел фильм „Встреча на Эльбе”. Но весь этот поток пропаганды был лишь одной стороной медали. Другая оставалась невидимой. Кто мог предположить в 1946 году, что „доблестные фронтовики” с Лубянки уже постоянно отслеживают всех иностранцев? И что каждый, хоть раз встретившийся с иностранцем, будет отправлен на острова Архипелага? Органы использовали для слежки стукачей — молодых „интеллигентных” людей, один из которых впоследствии окажется для меня злым демоном.

В 1945 году, после демобилизации, я поступил в 3-й Московский мединститут. Он занимал большое здание над новой территорией зоопарка, в котором когда-то располагалась знаменитая клиника лизотерапии профессора Казакова. (Профессор Казаков вместе с профессором Д.Д. Плетневым были осуждены по „делу отравления М. Горького”, и оба погибли в застенках Суздальской крепости в конце 30-х годов). Только что демобилизованные мы еще носили армейскую форму без погон, чем отличались от недавних выпускников школ. Профессора относились к нам с особой симпатией. Помещения института не отапливались и на лекциях во всех аудиториях мы сидели в шинелях, а старые профессора накидывали на себя изношенные

и много раз перелицованные пальто. В перерывах между занятиями мы бежали в деревянную пристройку — студенческую столовую, где отрывали талоны от своих продкарточек и получали малокалорийный обед.

Я жил с родителями в одной комнате большой коммуналки, где еще в шести комнатах жило шесть разных семей. Наш дом № 4 по Рождественке стоял на углу Пушечной, напротив гостиницы „Савой”. (Ныне улица Жданова и гостиница „Берлин”). Этот дом снесли вместе с целым кварталом домов и Лубяньским пассажем по приказу Микояна и Фурцевой для строительства „Детского мира” в 1956 году. Из-за нехватки учебников мы собирались группами и вместе готовились к экзаменам и зачетам. Несмотря на постоянный шум в нашей коммуналке ко мне приходили заниматься однокашники, среди них Сергей Губанцев, ставший впоследствии санитарным врачом, будущий невропатолог Борис Крикун и ставший впоследствии известным врачом у себя на родине Вано Иеркомашвили из Сухуми. Дружил я и с сыновьями нашего покойного профессора Шхвацабая — Юрой и Игорем. Первый стал врачом-педиатром, второй — директором Института терапии АМН. В институте учились с нами три девушки с оригинальными фамилиями, вызывавшими постоянные шутки: Берлин, Лондон и Париж. В тот год одна из них познакомила меня с Евгением Бейлиным, оказавшимся к тому же моим соседом. Он элегантно одевался, обладал мягкими манерами, был эрудирован. Немного прихрамывал, но незаметно. Это не было фронтовым ранением, в армии он не служил. Жил Евгений в отдельной квартире с родителями, имел свою комнату, что по тем временам, да еще в центре столицы, было редкостью. Отец его — угрюмый мелкий служащий, зато мать, Сарра Львовна, развязная, говорливая женщина, полная хозяйка в семье, целыми днями и ночами занималась раскрашиванием косынок и платочков от арте-

ли на дому, зарабатывая большие деньги. Мы жили с Бейлиным в разных измерениях. Он в отдельной квартире, я в одной комнате с родителями в коммуналке. Я бегал с карточками по очередям, грел на кухне еду, ссорясь с соседками из-за конфорки на общей плите. Женя менял костюмы, мне же сшили один „выходной” еле-еле. Бейлин разбрасывался деньгами, я получал „на карманные расходы” от родителей. Несмотря на всю эту разницу, я не чувствовал с его стороны высокомерия или покровительственного отношения. Он говорил, что является студентом Института стали, но я никогда не видел его за занятиями или бегущим в институт по утрам. Все знакомства и окружение Бейлина — типичная „золотая молодежь” Москвы тех лет. Мне, демобилизованному год назад, было не по силам со всей этой компанией тягаться.

В один из вечеров Бейлин пригласил меня на встречу к его „старым друзьям” в ресторан „Метрополь”. Там, за столиком, его уже ожидала пара американцев. Сидней Голендер представился коммерсантом-пушником часто приезжающим в Союз для закупки мехов. Он говорил немного по-русски. Его жена, Флоренс, миниатюрная щупленькая женщина в красивом платье с бриллиантовой брошью на груди в форме шестиконечной звезды, не понимала русского языка, и муж переводил ей. Толстый но подвижный, он имел, видимо, много знакомых среди американцев, которые то и дело подсаживались к нашему столику. Вот с этого вечера и начали видно гебисты высвечивать меня. Не понимал я тогда глубины той пропасти, к которой двигался. Бывший офицер-фронтовик, я, хотя и был беспартийным, не чувствовал никакого криминала в том, что хожу с „другом” Бейлиным к этой паре американцев. Было еще несколько встреч, одна из них в их номере гостиницы. Все пили много, а пьяный Голендер начал демонстрировать под струей горячей воды во



что превращаются две купюры: советский рубль и американский доллар. После стирки рубль превратился в бумажный комок, а доллар словно обновился. Это у Голендера символизировало преимущество США. Тогда же я познакомился с Лидой Бекасовой, манекенщицей из Дома моделей что на Кузнецком мосту и хорошенькой блондинкой с голубыми глазами — Диной Субботиной. Но никто и ничто не подсказывали мне об опасности.

1947 год. В Москве по углам озирающиеся в страхе крестьянки продают сушеные на нитках грибы и ягоды. Изголодавшийся народ немедленно их раскупает. В метро, в пригородных поездах инвалиды войны просят подавание. В маленьком флигеле на Петровке, рядом с домом № 38, где тогда помещался ОВИР, десятки русских женщин, вышедших за годы войны замуж за англичан и американцев, получают отказы в выезде с мужьями. Несмотря на незначительное движение транспорта, на углу улицы Горького, возле кафе „Националь”, под машиной погибает талантливый поэт Сергей Алымов. Осенью власти объявили предстоящую денежную реформу, так и не указав, как будут обмениваться деньги. С ночи образовались очереди возле сберкасс: одни вносили наличные, другие снимали со счетов.

В декабре старые друзья по фронту, в большинстве студенты, пригласили меня на чей-то юбилей. Решили пойти в складчину в ресторан „Москва”, на второй этаж одноименной гостиницы. На закуску денег почти не было и все здорово опьянели. За соседним столиком я увидел пару: она — типичная пушкинская Ольга, он — офицер с аксельбантами, на рукове надпись „Мексико”. Бывшему фронтовому офицеру, а ныне — пьяному студенту „море по колено”, и я иду приглашать даму на танец. Во время танца узнаю, что она жена

офицера, военного атташе Мексики, что из-за отсутствия квартир при посольстве они живут в гостинице „Савой”. И приходит дурацкая мысль. *Совпадение*: я живу напротив гостиницы „Савой”. В Мексике живет мой дядя, с которым отец изредка переписывается. Но письма отца, словно написанные специально для цензуры, вызывали во мне возмущение. Он всегда писал одно и то же: „мы живем отлично и ни в чем не нуждаемся”. И я договариваюсь с Галиной Ареналь, что занесу ее мужу — Камарго Ареналь в гостиницу письмо к дяде, в котором честно опишу наш быт и беды. Через пару дней с готовым письмом в конверте и адресом дяди, я захожу в гостиницу „Савой”.

Атташе не застаю. Галина в номере нянит малыша. Оставляю для ее мужа письмо с адресом и выхожу, но замечаю, что за мной следуют из вестибюля двое в штатском. Напротив мой дом, но чувство страха овладевает мной, и я иду к Неглинной; они следуют за мной. Внезапно я прыгаю на последнюю ступеньку проходящего мимо трамвая и вижу как те двое стоят в растерянности.

Что это было? Мальчишество? Ухарство? Игра с огнем? До ночи брожу по городу и возвращаюсь домой поздно ночью. И, все равно, это становится известно органам, в чем убеждаюсь позже. А тут отец рассказывает мне, что у него лечился какой-то чин из МГБ по фамилии Вольский, который заявил ему: „Дорогой Юлий Акимович, я вам благодарен как врачу, который меня вылечил, потому и хочу предостеречь: передайте вашему сыну, чтобы он прекратил свои вечерние компании и встречи.”

Но поздно. На Лубянке уже вовсю накручивали мое „оперативное дело”. И хотя я порываю связь с Бейлиным и его компанией и снимаю комнату в отдельной квартире у вдовы крупного работника цветной металлургии — Марии Исаевны Фридман — и здесь

готовлюсь к экзамену по клиническим дисциплинам, — удав уже подполз к кролику.

В это же время кто-то из старых знакомых, сообщает мне „радостную весть”, что одна из моих приятельниц, якобы, является любовницей Берия. Я тогда не понял кто же из двоих: Лида Бекасова или Дина Субботина. Но это уже не имело никакого значения, за мной ежедневно следили агенты МГБ, провожая и встречая меня в клиниках института.

## *Глава вторая*

### **АРЕСТ И ЛУБЯНКА**

Холодный апрель 1949 года. Ежедневно до позднего вечера я готовлюсь к экзаменам за 4-ый курс. С учебниками стало легче, не так как в первый послевоенный год.

21 апреля ночью неожиданно позвонили, и я, заспанный, пошел открывать дверь. В квартиру ввалились трое штатских и дворничиха. Бесцеремонно вошли в мою комнату и предъявили ордер на обыск и арест, подписанный начальником МГБ по Москве и Московской области генералом Горгоновым и утвержденный военным прокурором Власовым. И с ходу начались вопросы: есть ли оружие? где валюта? Начался обыск. Перевернули постель, простучали стены и пол, выискивая тайники, затем пошли в комнату хозяйки и перевернули там все вверх дном. Так продолжалось всю ночь. Под утро, ничего не найдя, сели писать протокол. Хозяйка, ничего не понимая, прорыдала всю ночь, приговаривая и божась, что она честная советская гражданка, что „приходят” к ней впервые, что я студент,

аккуратно платящий ей за комнату и еще что-то в этом роде. Чтобы успокоить ее, говорю, что это какое-то недоразумение и что я скоро вернусь. Но в душе я понимал, что ордером на обыск и арест МГБ не шутит. И все-таки какая-то надежда еще теплилась во мне. Уж так устроен человек, что всегда, даже в совершенно безвыходной ситуации, на что-то надеется.

Потом, познакомившись с другими жертвами необузданного террора 1949 года, я понял, что меня арестовали самым „классическим” способом. Многих хватили на улице, в вагонах метро, брали прямо на работе, не давая попрощаться с родными.

„Победа”, в которой меня везли, выехала на совсем пустынную улицу Горького, у гостиницы „Москва” сделала левый поворот и стала подниматься по Театральному проезду к площади Дзержинского. Я подумал, что меня ввезут в большие железные ворота, что со стороны Большой Лубянки, но мы проехали дальше и нырнули в переулок Малой Лубянки. Справа находился католический костел, слева ряд двухэтажных домов. Машина въехала в небольшие железные ворота длинного двухэтажного домика, остановилась, и меня передали в распоряжение охраны МГБ.

Тогда я еще не знал, что одновременно обыск был произведен в комнате родителей, в нашей коммуналке, и были изъяты около сотни семейных фотографий и некоторые книги из библиотеки отца. Позже я все это увидел на столе моего следователя. Особенно жаль было редкостного двухтомника Победоносцева.

Меня ввели в маленькую комнатку, заперли. Сажусь на деревянный пол. Слышу как беспрерывно отпирают и запирают двери соседних боксов. Возгласы: „за что?” или „почему меня арестовали?”. Так я познакомился с конвейером Лубянки 1949 года.

Когда в коридоре на часах пробило восемь, в дверь



просунули кусок черного хлеба и кружку кофейной бурды со словами: „Ешьте быстрее”. Через пару минут повели в маленькую каморку, где тюремный парикмахер остриг наголо. В другой каморке фотограф сделал два снимка в профиль и анфас, так же быстро провели в третью, где, намазав черной мастикой пальцы обеих кистей, взяли отпечатки пальцев. Эта процедура на тюремно-лагерном языке называлась „сыграть на рояле”. Во всем сказывалась какая-то торопливость и спешка. Надзиратель повел меня по широкой гостиничной лестнице на второй этаж, где в коридор выходили двери с прорезанными в них глазками и кормушками. Много раз, еще в школьные годы, проходил я по Малой Лубянке, но не знал, что старые дешевые двухэтажные гостиницы МГБ превратило во внутреннюю тюрьму.

В большой камере, бывшем гостиничном номере, стояли три железные койки и уже находились два арестанта. Вот и первое тюремное знакомство: Юрий Тунник, студент, мой сверстник, астенического сложения, лысеющий, экспансивный и нервный. Обвиняется в измене, был в плену — значит — 58-1Б. Второй обитатель камеры — высокий широкоплечий здоровяк, округлое лицо с узкими щелочками глаз, под которыми большие мешки. Угрюмый и молчаливый, даже не назвал себя, только взглянул в мою сторону с некоторым презрением. Он все ходил по камере и тихо напевал: „Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером белая чайка летит, ей много простора, ей много свободы, луч солнца у чайки крыло серебрит...”

Я никак не мог вспомнить где и когда слышал эту мелодию. Каждое утро этого типа вызывали, как будто на допрос, возвращался он поздно вечером и заваливался спать. Ни я, ни Юра не понимали почему его

вызывают днем, а ночью дают спать. Туника, а затем и меня, будут таскать на допросы только ночами, запрещая спать днем. Семь лет спустя я встретил Юру Туника возле его дома на Никольской. Он рассказал мне, что тот тип был „подсадной уткой”. Вот почему он настойчиво расспрашивал у Юры все подробности плена, его похождения в Баварии после освобождения американцами. На следующий же день каждое сказанное слово было известно следователям. Стукач и ко мне подкатывался, но я и сам не знал в чем меня обвиняют.

В этой камере я просидел более двух месяцев. Из маленького дворика, где нас прогуливали по полчаса в день, была видна часть голубого особняка на улице Дзержинского, приемной УМГБ Москвы и области. С вечера в тюремном коридоре начинался непрерывный звон ключей. Это бряцанье ключами о медные бляхи служило четко отработанным сигналом, предупреждающим возможность случайной встречи двух арестантов в коридоре. Так начинались ночные хождения на допросы. Тщательно была продумана схема распределения по камерам, чтобы подельники, да и просто знакомые, не оказались вместе. Утром в кормушку забрасывали пайку влажного черного хлеба и кружку кофейной бурды с двумя кусочками пиленного сахара. Днем — баланду, пахнущую рыбой и миску водянистой каши. Вечером ту же водянистую кашу. Таков был рацион на Малой Лубянке в 1949 году. Передачи были запрещены. Раз в неделю выводили по одному на лестничную площадку, где полная блондинка в белом халате состригала машинкой наши бороды под постоянным присмотром дежурного надзирателя. Однажды, когда надзиратель отошел, я шепнул ей домашний телефон родных и попросил позвонить им. Ее лицо оставалось неподвижным, будто она и не слышала моего шепота.

Через неделю меня вечером вызвали на допрос. За письменным столом восседал майор МГБ. Круг-

лое скуластое лицо было гладко выбрито. Светлые волосы зачесаны на пробор, серые бегающие глазки, широкие плечи. Представился: „майор Матиек, старший следователь УМГБ Москвы и области. Я буду вести ваше дело”. Сразу предъявил постановление, в котором я обвиняюсь в шпионаже по статье 58-1а в пользу... (далее следовал пропуск) и по 58-10 часть 1 в антисоветской агитации. Я обратил его внимание, что пропуск в постановлении и есть лучшее доказательство моей невиновности. На это он ответил: „Это уже вы сами нам расскажите”. Начиналась та знаменитая куролесица, когда человек должен был доказывать, что он „не верблюд”. Полностью отрицая предъявленное мне обвинение, я не подписал даже первого протокола с обычными анкетными данными. Майор разорвал на моих глазах большую часть семейных фотографий и убрал со стола конфискованные книги. Стал расспрашивать о знакомых, связях, встречах.

На следующем ночном допросе, поминутно заглядывая в толстое „оперативное дело”, перешел к встречам с американцами, парой Голендер и по несколько раз спрашивал: кто и когда вас завербовал? какое задание вы получили? Я рассказал о знакомстве с Бейлиным, о его круге знакомых, в который он меня ввел. Почему-то я полагал (я все еще был наивен, как дитя!), что это просто ошибка наших „доблестных чекистов”, что нужно лишь установить истину. Но с каждым допросом терял надежду.

Матиек продолжал вызывать меня по ночам. Я сидел до утра на табурете и валялся от усталости. Надзиратели в камерах спать не давали. Сам Матиек ночами занимался подготовкой к политзанятиям, конспектировал историю партии, труд „корифея” „Вопросы ленинизма”. Часто вбегал в кабинет небольшого роста человек в черном штатском костюме и обращался к моему следователю: „Что, эта вражина еще не приз-

налась?” А затем поворачивался ко мне и, брызгая слюной, кричал: „Рассказывай, гад! Ты знаешь наш девиз — кто не сдается, того уничтожают”. И тут же убегал, видимо, в другие следственные кабинеты. Это был полковник Герасимов — начальник следственного отдела МГБ Москвы и области. Я принципиально и дальше не подписывал ни одного протокола, даже тогда, когда он соответствовал моему рассказу. И Матиек каждый раз писал внизу: „от подписи отказался”. Однажды он прилег на диван и задремал, а я продолжал сидеть на стуле. Я ударил ногой об пол, он вскочил, подошел ко мне и замахнулся, в ответ я спокойно сказал: „Послушай, майор, если ты меня ударишь, я разобью эту табуретку о твою голову”. Он отошел к столу и выписал ордер на 10 суток карцера за „провокационное поведение на следствии”, вызвал надзирателя и тот повел меня в подвал. В узеньком коридоре было 10 дверей и столько же карцеров. Клетушка размером один на два метра, пол цементный, яркая лампа сверху. Измученный бессонными ночами, я лег на пол, подложил ботинки под голову и уснул. Сколько я спал, сказать трудно. Проснулся от сильного озноба. Шумел вентилятор, я потерял счет времени. Иногда открывалась кормушка — выдавали кусок хлеба и кружку кипятка. Из карцера меня ни разу не вызвали на допрос. Но многих вызывали.

Однажды я услышал стук женских каблучков и подтянулся из последних сил к сетке над дверью. Каково же было мое удивление, когда я увидел в коридоре Лиду Бекасову, которую вели на допрос. От неожиданности я крикнул: „Лида!”, но она не повернулась. Когда через десять суток открыли карцер, я едва держался на ногах от слабости. Но повели меня, еле живого, не в камеру, а на допрос в следственный корпус в конце коридора. Майор Матиек встретил меня

ехидной улыбкой: „Ну, теперь будешь признаваться? У нас есть подвалы и похуже, посадим туда — сгниешь живо”. Однако признаваться в том, чего не было, я считал гибелью. Допросы продолжались. Я требовал очной ставки с Бейлиным, но Матиек упорно не давал: „А нам, следствию, это не нужно”. Все больше я убеждался, что Бейлин сотрудничает с органами.

После карцера меня перевели в другую камеру, где было шесть коек. Здесь было повеселее. Молодой солдат возмущался почему его обвиняют по статье 58-10 в антисоветской агитации. Он всего лишь пошел в туалет на военных занятиях части и захватил с собой газету с изображением вождя. Донос, арест, Лубянка. Другой — инженер, ездил в командировки за рубеж для ознакомления с технологией производства. Арест за „измену родине, шпионаж”, как и у меня статья 58-1а. Пожилой христианин молился у окна, никто не мешал ему. На одной из коек сидел бледный мужчина — это был еврейский писатель Перец Маркиш. Еще до своего ареста я слышал о разгроме еврейского театра на Малой Бронной, об арестах еврейских писателей под лживым лозунгом „борьбы с космополитизмом и сионизмом”, об арестах и разгроме Антифашистского еврейского комитета. Маркиш был не разговорчив. Видимо, как более опытный, он боялся „подсадных уток”, но в этой камере, как казалось мне, их не было. Я говорил в открытую. Зашел разговор о литературе. Я сказал, что роман Коростылева „Иван Грозный” — лживый насквозь, ибо образ Ивана Грозного полностью опровергается романами графа Толстого, хотя бы его романом „Князь Серебряный”. Маркиш тихо кивнул головой и слегка улыбнулся. Он рассказал, что здесь совсем недавно, что его перевели с Большой Лубянки, где он сидел раньше. По вечерам камера пустела — каждый вызывался к своему следователю — собирались, когда до „подъема”, по тюремно-



му режиму, оставалось два часа. Но что это был за сон, когда через два часа раздавалась команда: „подъем”, и мы должны были садиться на койки и так сидеть целый день. Была лишь одна спокойная ночь — воскресная. И воскресный день. И тогда с улицы Малая Лубянка доносились до нас звуки органной музыки из костела, расположенного напротив.

Жаркое лето наступило внезапно. Свежий воздух почти не поступал в камеру. Стояла духота. Мы сидели раздетые до пояса. На допросах Матиек перешел к моему посещению гостиницы „Савой”. Отрицать было бесполезно. Я объяснил свой визит тем, что хотел воспользоваться оказией и передать письмо родному дяде в Мексике. Тогда вопрос уперся в содержание самого письма. Я говорил, что письмо носило чисто родственный характер, но в душе опасался, не передала ли жена Ареналя это письмо в лапы МГБ. После одного-двух допросов я убедился, что письма в деле нет.

К концу лета Матиек оставил расспросы по первому обвинению в шпионаже и перешел к следующей статье — 58-10, инкриминирующую антисоветскую агитацию.

— Высказывал ты мнение, что половину Польши и всю Прибалтику мы захватили незаконно?

Я начинаю хитрить и отвечаю на вопрос вопросом.

— А как вы сами считаете?

Матиек багровеет, глаза стекленеют, он стучит кулаком по столу, начинает остервенело кричать:

— Сволочь, это я задаю здесь вопросы, а не ты. Я допрашиваю тебя, а не ты меня.

Затем он отходит немного, снова заглядывает в „оперативное дело”, спрашивает:

— Высказывался ли ты, что работа нашего вождя, товарища Сталина, „Марксизм и национальный вопрос” лжива и является чепухой?

Это донос. Понимаю, что он исходит от кого-то из институтских, хочу припомнить, кому я говорил нечто

подобное. Не могу. А Матиек тщательно записывает свои вопросы в протокол.

— Рассказывал ты явно антисоветский анекдот про еврея, вызванного в ГПУ?

И я опять вопросом на вопрос:

— А какие анекдоты вы считаете советскими и какие антисоветскими?

Я знаю, что все доносы лежат в этой толстой папке. Мне было уже безразлично, чья это „работа”. К тому же статья 58-1а в измене перекрывала по тяжести статью 58-10. Но все равно я старался не подписывать протоколы. Каждый вечер, после ужина, открывалась кормушка в двери камеры, и надзиратель шепотом называл начальную букву фамилии: „на Б”, чтобы в других камерах не слышали фамилии. Это означало идти на всю ночь в кабинет следователя.

Как-то днем, изнемогая от бессонных ночей, я свалился на койку. Открылась кормушка и надзиратель-коридорный приказал подняться. Я поднялся и снова свалился. Тогда неожиданно в камеру вошли два здоровенных лба-надзирателя, взяли меня с двух сторон под руки и поволокли вниз по лестнице. Я думал, что в карцер, в подвал, а они заперли меня в темный закуток под лестницей на первом этаже. Темно, сесть невозможно. Стены сырые. На цементном полу вода. Я в одной рубашке. Знобит. Начинаю стучать в дверь: „Что вы издеваетесь, сволочи! Фашисты, отогрите дверь!” Никакой реакции. Минут через двадцать надзиратель отпирает дверь: „Прохладилась маленько, не будешь спать в неположенное время”, — и ведет меня снова на 2-ой этаж, в камеру. Снова провожу ночи в кабинете у майора. Но это уже не следствие и не допросы, а просто отсиживание до рассвета. Иногда он снимает трубку телефона и говорит: „Ну, как там у вас? Да вот сидит здесь у меня один вражина, не хочет признаться. Ты мне кофейку приготовь к 9 часам”. Это

он звонил домой. Иногда долетали голоса из других кабинетов. Однажды я услышал: „Ох ты, блядь, английская подстилка, не будешь признаваться?!”. И вслед за этим рыдания. В другой раз слышал немецкую речь.

Так проходило жаркое лето 1949 года на Малой Лубянке. Только в сентябре Матиек подозвал меня к столу и дал читать „мое дело” — пухлую папку с неподписанными протоколами. Это называлось актом об окончании следствия, подписанием статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса. Тогда я не знал юридических законов. О том, что при этом должен присутствовать прокурор, что имею право требовать очные ставки, свидетелей. За полгода на Малой Лубянке, кроме маленького плюгавого Герасимова, обегавшего по ночам следственные кабинеты, я вообще никого не видел.

Да органы и не связывали себя никакими законами. Они были выше всех законов. Вне закона.

В этом жестоком конвейере арестов и дутых дел важно было лишь как можно быстрее разоблачить большее число шпионов и врагов народа, чтобы выслужиться перед начальством, получить повышения, звания и награды.

Все более утверждался я в мысли, что Бейлин их агент. Я стал вспоминать отдельные моменты, коим не предавал ранее никакого значения. Вспомнил о странных телефонных звонках у него дома, на которые он отвечал коротко и невнятно. О встречах на улице с какими-то типами, когда он просил меня подождать его в стороне.

Отказали мне и в очной ставке с Галиной — женой атташе.

Я отказался подписать обвинительное заключение и статью 206 об окончании следствия. Это было мое последнее свидание с майором Матиеком. Больше

мне не суждено было его увидеть.

В этот же день меня вывели во дворик, где ожидал воронок. Конвейер Малой Лубянки не допускал задержки, нужны были места для новых жертв. На 6 сидячих мест в воронок запихали 12 эзков. Одни мои попутчики говорили, что везут на пересылку Красная Пресня, другие — что прямо на этап, а в лагерь пришлют приговоры. Через полчаса увидели широкие, автоматические раздвигающиеся ворота и зубчатые стены тюрьмы. Поняли, что это Бутырская. Воронок остановился возле одного из корпусов и провели нас в „вокзал”. Эту обитель я помнил с детства, когда на руках у матери ходил на свидание к отцу. Потом сотни раз проходил мимо, когда после Дагестана мы жили временно на Тихвинской, а я был принят в школу на Миусской площади. Сразу направили нас в баню. Каменные скамейки, шайки, горячая вода — чем не Сандуновские или Центральные бани. Вещи все ушли в прожарку и вышли горячими со специфическим запахом. Затем начали разводить по камерам. Я попал в камеру на третьем этаже. С обеих сторон на нарах сидело около 70 эзков. Сразу расспросы: „С Малой или Большой, кто был следователь, давно ли с воли, какая статья? При тусклой лампочке на потолке лица кажутся восковыми. Здесь все — в ожидании суда или трибунала. Высказывались предположения, что в связи с „холодной войной”, вышел закон о превентивных арестах всех неблагонадежных лиц. Другие говорили, что правительству нужна рабочая сила на новых стройках пятилетки. Возможно, правы были и те, и другие, но это не меняло нашего положения. Камеру убирали и выносили парашу строго по графику. На прогулку выводили всей камерой на асфальтированный двор, где ходили вразброд и можно было разговаривать. Вдали виднелась башня в стене. Все называли ее „пугачевкой”, якобы, там сиживал в заточении Емельян Пугачев.

Поговаривали, что и все корпуса Бутырок построены буквой „Е” в честь Екатерины II, что где-то здесь работает библиотекарем эсерка Фаня Каплан, помилованная Лениным. Но никто никогда ее не видел. Возможно эти слухи распространялись специально для того, чтобы придать образу вождя больше гуманности.

Контингент камеры бесперерывно менялся: одни уходили „с вещами” и больше не возвращались, поступали новые.

Через месяц вызвали и меня „с вещами”. Привели на „вокзал” и заперли в кафельный бокс. Вечером принесли миску каши. Когда шум на „вокзале” утих и часы пробили 10, открыли бокс и провели в комнатку напротив. Там, за столом, стоял полковник МГБ, на столе у него лежали две стопки бумажек. Он вынул одну из одной стопки и торжественно, серьезно, словно зачитывает королевский указ, стал читать: „Постановление Особого Совещания МГБ СССР № 55 от 24 сентября 1949 года, имярек по ст. 58-1а „за преступную связь с иностранцами” и по ст. 58-10 часть 1 „за антисоветскую агитацию” приговаривается к 10 годам ИТЛ”. Просит расписаться, я категорически отказываюсь, заявляя, что требую нормального суда. Полковник говорит: „Это не имеет никакого значения, важен факт, что я вам огласил”. — И убирает бланк в другую стопку. Не успел надзиратель вывести меня из этой комнатки, как туда заволокли следующего из другого бокса. Сразу повели во двор тюрьмы. В темноте увидел церковь посреди двора. Чекисты превратили ее в этапные камеры. Двухэтажные железные нары. Народа — тьма. Тусклые лампочки на потолке. Вдруг с верхней койки на меня кидается детина: „Не узнаешь?” Гляжу на знакомое лицо и не могу вспомнить кто это. Через минуту вспоминаю: Семен Бойченко, чемпион мира по плаванию, кумир Москвы, любитель компаний, весельчак. Получил 10 лет за анекдот.

Утром следующего дня я увидел стоящего у зарешетченного окна интеллигентного вида мужчину средних лет с бородкой клинышком. Глядя через окно на опавшие листья во дворе тюрьмы, он напевал старинный русский романс. Познакомились. Оказался профессором Текстильного московского института (как жаль, что забыл его фамилию). На мое возмущение арестом, следствием, обвинением, ОСО, он тихо и невозмутимо заявил: „Вы что же голубчик, ожидали от них чего-то лучшего? Неужели вы не поняли сущности их власти?“ И его спокойствие передалось мне.

Узнав, что теперь можно получить свидание, я написал заявление. Через пару дней нас повели через двор на свидание. По другую сторону металлической сетки стояли родные. Каждый старался говорить громче — выходил сплошной крик. А через пять минут надзиратель крикнул: „Свидание окончено, выходи“. Слава Богу, что я успел попросить теплые вещи. Через пару дней я получил теплое белье, сапоги, рукавицы и шапку. Хорошо, что успел, ибо еще через пару дней вызвали на этап. Последней в воронок села пожилая женщина. Ее история типична: работала в учреждении уборщицей, протирая на стене портрет вождя, сказала: „Дай-ка, милоч, я тебе глазки протру, чтобы ты лучше видел что творится с народом“. Донос, арест, ОСО и 10 лет лагерей. Мы помоложе — может и выживем, а вот она?

Проехали центр, затем Коланчевку и въехали на товарную Казанской дороги со стороны Новорязанской улицы. Здесь увидели поджидавший нас конвой с автоматами и овчарками. Собаки лаяли и срывались с поводков, готовые броситься на нас и растерзать. В первый раз это произвело впечатление, потом я уже привык к подобным сценам.

Начали посадку в столыпинский вагон. На 4 места сажали 10-12 человек. Я смотрел на тупые лица кон-

воиров, молодых парней войск МВД, и думал: „Неужели эти деревенские парни уверены в нашей виновности, неужели они думают, что мы действительно „враги народа“. Потом мысли переключились на институт, родителей, на невесту. И так, моя мечта стать врачом уже никогда не осуществится. Ведь я должен буду освободиться только в 1959 году, когда мне будет 38 лет. О какой учебе в эти годы может быть речь?

## *Глава третья*

### **ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПЕРВЫЕ УРОКИ.**

Через пару дней состав прибыл на оживленную станцию. Наш — столыпинский — отцепили и загнали в тупик. Что за город, мы еще не знали. Потом начали сажать в воронки, набивая до отказа. Повезли через центр города на окраину. Выгружают. Глядим — вроде лагерь: забор с колючей проволокой по верху, вышки с часовыми. Обрадовались, что совсем недалеко от Москвы. А оказалось, что это — всего-навсего — пересылка в Куйбышеве, который правительство в паническом бегстве в 1941 году избрало новой столицей страны. Внизу, под горой, видна излучина Матушки-Волги, с другой стороны — высокий косогор. В зоне нас загнали в длинное помещение, оказавшееся недавней конюшней. Посреди двора — деревянный столб с железными кольцами, вокруг которого прогуливали лошадей. В конюшне смесь табачного дыма, человеческого пота и запаха навоза. Пол земляной. По обеим сторонам двухэтажные нары, маленькие оконца под потолком. Народа — тьма. Шумно. Знакомлюсь с моск-



вичем Маграмом, бывшим корреспондентом в Италии, который получил „за шпионаж” по ОСО 10 лет. На нижних нарах — тоже москвич, киносценарист Л.А.Г. И у него десятка по ОСО по 58-10 „за антисоветскую агитацию”. Смуглое лицо, большие черные усы, трубка. Можно было бы принять его за кавказца, если бы не карие, чуть на выкате, грустные глаза. В углу — тройка астраханских студентов. Старший из них — крепыш с черной шевелюрой — Феликс Запорожец. Сидит за организацию кружка „По ленинскому пути”. Спрашиваю, не сын ли того ленинградского Запорожца, начальника НКВД, расстрелянного впоследствии. Да, он самый. Отец назвал сына в честь своего кумира — „железного Феликса”...

Ежедневные прогулки вокруг деревянного столба... Как те самые лошадки, что гуляли тут до нас. Многие на прогулки не выходят, уже заморозки, а они в летнем. Наступают ноябрьские дни, советские праздники. Для тюрем они тоже святы: выдали на два кусочка пиленного сахара и на 200 грамм хлеба больше обычного. Здесь впервые я увидел повторников: пожилых людей, давно отбывших свои сроки, и вновь посаженных по тем же старым делам на 10 лет.

Как-то из одной конюшни вывели на прогулку женщин. Все бросились к маленьким окошечкам, и я увидел среди них стройную Лиду Бекасову. Кто-то крикнул: „Смотрите, там и Лидия Русланова, вон, в пальто с чернобурым воротником”. И все снова кинулись к окошкам. А я вспомнил толстого улыбающегося конферансье Михаила Гаркави. Отец рассказывал, что он учился с ним на медфаке Московского университета. Но потом забросил медицину и ушел на эстраду. Гаркави был первым мужем Руслановой. Потом она вышла замуж вторично за некоего генерала Крюкова. И в конюшне начались рассуждения: одни утверждали, что ее посадили за спекуляцию нагробленным в Германии

имуществом, другие говорили, что она сидит за анекдоты. Последние оказались правы. Но вывод был один: МГБ стало *над* правительством. Ведь ни одного правительственного концерта не обходилось, чтобы на них не выступала эта известная исполнительница русских песен.

Был конец ноября, когда нас вызвали на этап. Снова воронки, переключка, столыпинский вагон. Вместо почтового нас на этот раз подцепили к пассажирскому составу. Овчарки, автоматы. Подходят любопытные. Какие-то женщины бросают конфеты, печенье. Конвоиры отгоняют их. Женщины бранятся. Нет, не угасло в России чувство сострадания к каторжанам.

В Челябинске пересылка. Нас разделяют на группы по 4-5 человек. Ведут в камеры. Я попал в довольно светлую с высоким потолком, большим окном и двухэтажными нарами, окантованными по краям железом. Наверху, у окна, блатные — „паханы”, на первом этаже копошатся малолетки — „шестерки”. При нашем появлении сразу раздается команда сверху: „Прошмонать все сидора и уголки”. Это на их жаргоне (фене) называется обыскать наши чемоданы и мешки. На нас лезут малолетки, угрожая ножами и бритвами. Первым обыскивают пожилого священника. Забирают из его чемодана домашнюю еду, снимают с плеча пиджак. Я наивно обращаюсь наверх, к „паханам”: „Ребята, как же можно, ведь пожилой человек, священник”. Не помогает. Следующий я. Забирают новое теплое белье, полученное еще в Бутырках. Я снова наверх: „Ребята, неужели будете у врача отбирать?” Один из паханов кричит: „Ах, так ты лепило, тогда полезай к нам”. (Лепило — по той же фене — медработник). Я бросаю наверх свой пустой мешок и лезу в гущу паханов. Они уступают мне место у окна. Я снова: „Ребята, ваши матери и жены может в эту минуту молятся за вас вот у такого священника, стыдно

отбирать у него вещи и еду". При упоминании матери, они преображаются и дают команду вернуть все отобранное священнику. Потом я говорю: „Мы ведь все зеки, все в одной камере, надо бы вернуть все ребятам". И слышу в ответ: „Нет. Вы — фашисты, а мы — советские люди, временно изолированные". Вскоре, однако, они возвращают нам вещи, но расплачиваться за это должен я один. Воры требуют „тискать романы". Это значит рассказывать без конца какую-нибудь чушь, но в ней как обязательный элемент должны присутствовать криминал, эротика, любовь. И я „тискаю романы".

Ночью, во сне, мелькают картинки детства, как в волшебном фонаре... Вот, я еду с родителями в Лосиноостровское в коротеньких штанишках и матросочке, а по вагону проходит оборванный и грязный беспризорник и просит милостыню. Я прошу у родителей деньги и кладу ему в руку. Он благодарит и начинает петь на весь вагон:

„Позабыт, позаброшен,  
С молодых юных лет,  
И остался сиротою,  
Счастья в жизни мне нет.

Вот, умру я, умру я,  
Похоронят меня,  
И никто не узнает,  
Где могилка моя.

И никто на могилку  
На мою не придет,  
Только раннею весною  
Соловей пропоет..."

От жалости к беспризорнику я начинаю реветь. Пытаюсь бежать за ним в следующий вагон, но родители не дают.

Следующая картинка: в морозную ночь в Нарымском крае, в селе Калпашево, меня будит мать и берет на руки, вся дрожа от страха. На пороге стоят трое в черных масках с револьверами. Потом один остается у

дверей, а двое других связывают и забирают наши вещи. Через неделю какой-то местный охотник наткнулся на связанные узлы в сугробе под снегом и принес их нам. А потом слышу, как отец говорит матери: „Лиза, я подозреваю, что ограбили нас сами местные гэпеушники”. Еще одна картинка детства: мы снимаем комнату в частном доме застройщика на Ново-Тихвинской улице. Впервые мне дают мелочь на кино, и я радостный бегу в кинотеатр „Антей”, что напротив Института железнодорожного транспорта на улице Образцова. Около кассы стоит группа маринорощенских „жиганок”, в сапожках на каблучках. Курят. Раскрашенные губы. Увидев меня, подходят. Вынимают финку из голенища, отбирают мелочь, а я бегу что есть духу домой, размазывая слезы по щекам. Больше меня в кино одного не пускают.

Утром следующего дня паханы требуют у надзирателя бутылку водки и еду. Тот через час протягивает в кормушку бутылку и консервы. „За тобой еще должок”, — кричат ему из камеры паханы. Вот она, прямая связь между режимом и блатными.

В следующий раз „тискаю” им рассказ из практики вендиспансера, который знал от отца-врача. Они слушают внимательно. Задают идиотские вопросы.

Откуда-то появляется гитара:

„Цыганка с картами:

Дорога дальняя, дорога дальняя,

Казенный дом,

Быть может старая, тюрьма центральная

Меня, несчастного, давно уж ждет.

Сестренка милая, моя любимая,

Как тяжело на свете жить,

Куда не гляну я – кругом решетки,

И как-то медленно проходят дни.

Опять по старому – цыганка с картами,

Опять по-старому – казенный дом,

Опять по пятницам пойдут свидания

И слезы горькие моей жены.

После каждого куплета снизу подпевали „шестерки“:

„Лубянка – все ночи полные огня,  
Лубянка – зачем сгубила ты меня  
Лубянка – я твой бессменный арестант,  
Пропали юность и талант в стенах твоих”.

Надзиратели им не мешали. Даже, когда они садились в открытую играть в карты. Днем, когда в камере становилось теплее, они раздевались до пояса, и я разглядывал татуировки на их телах. Часто повторялось: „Не забуду мать родную” или „Прости, мать родная”, много было крестов и наколок типа: „Боже, спаси душу грешную” или „Господи, помоги в жизни”. Я не переставал удивляться их тупости, малограмотности, полной аполитичности. Основными девизами были: „Один день кантовки — месяц жизни”, или „Грязной тачкой — рук не пачкай”. Им постоянно вбивали в головы, что мы, политические, — враги народа, террористы, шпионы, и называли они нас не иначе как „фашисты”.

Снова этап. Остановка в бывшей столице Сибири-Омске. Выпал снег. Бело кругом. Вечером везут со станции в омскую тюрьму. В окошечко гляжу на центр города, старые особняки с редкими современными постройками. Омская тюрьма. Впечатление, что попали в подземелье старинного замка. Низкие своды, с потолка капает, осыпается штукатурка. Сваливаемся на нары. Слава Богу, что в камере нет блатных. Кто-то вспоминает, что здесь должна висеть мемориальная доска в честь Ф.М. Достоевского. Но в темноте мы ее не разглядели. Два дня передышки и снова этап. После станции Татарская поезд сворачивает резко на юг. Выводят по одному в уборную, конвоиры стоят возле открытой двери. Едем по снежной степи. Ни деревца, ни жилья до самого горизонта. Город Павлодар. На самом деле это поселок с глинянными домиками и такими же сарайчиками. Всего два двухэтаж-

ных здания: исполком и тюрьма. Кругом, куда ни глянь, до самого горизонта голая степь. От сверкающей на солнце белизны резь в глазах. В павлодарской тюрьме тепло. Каждый день прибывает пополнение. Вот привезли трех астраханских студентов во главе с Феликсом Запорожцем. Прибыл и Л.А.Г. Когда набралось достаточно эков для эшелона — опять на станцию. Рассаживали по 50 человек в вагон. В щели задувал морозный ветер. Посредине железная бочка для топки. Растопили. Но могут ли все возле нее обогреться? Греется по очереди. Паровозик тащит нас все дальше в снежную степь. Останавливаемся через три часа. Конвоир открывает вагоны и велит прыгать вниз, под насыпь. Выстраиваемся по пятеркам в колонну и идем против ветра, по колено в снегу, в степь. Успели увидеть вагончик без колес у полотна с надписью: ЭКИБАСТУЗ. Никто такого названия не знает. Пройдя с полкилометра, видим пару стандартных домиков, на одном из которых вывеска: „Трест Экибастузуголь”, а еще через полкилометра — лагерь, огороженный двумя рядами колючей проволоки, по углам вышки с часовыми в тулупах, внутри бараки с дымящимися трубами. У ворот нас восторженно встречает толпа в бушлатах и с 4-мя номерами на одежде. Прибытие нового этапа в лагерь — всегда событие. Разбегаемся в ближайшие бараки — отогреться. Зеки ищут землячков, начались расспросы: кто, откуда, сроки, статьи. В этом лагере сидят только политические, по 58-й. Блатных и бытовиков нет. Правда, есть еще каторжане по Указу от 1943 года, имеющие все по 20 лет за сотрудничество с немцами на оккупированных территориях. Но номера у них совсем другие, в отличие от 58-й, и, начинаются с букв: КТР. Расшифровывается просто — это лагерь *каторжный*.

## *Глава четвертая*

### **ЭКИБАСТУЗ — ЛАГЕРЬ И БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ**

Лагерь в Экибастузе был лишь одним из многочисленных лагпунктов, раскинутых по всему Северному Казахстану под названием „Степного лагеря”. К другим точкам принадлежали лагеря в Джезказгане, Байкануре, Джизде, Долинке, Караганде, селе Спасском, Чурбай-Нуре, Карабасе, Кенгире и другие. Сотни тысяч зеков строили в этих местах города и поселки, прокладывали железные дороги, добывали медную руду и уголь. Острова эти раскинулись по всей стране и именовались географическими названиями: у нас был Степлаг (степной), на юге Казахстана — Песчанлаг (песчаный), возле озера Байкал, в районе Тайшета-Озерлаг (озерный), в Заполярье, на Таймыре — Горлаг, а по всей Колыме раскинулись лагеря Берлага (береговой). Даже женский политический, в Мордовии, назывался Дубравлаг (дубрава). В Экибастузе должен был быть построен город шахтеров, в связи с обнаружением колоссальных залежей угля прямо на поверхности. Достаточно было копнуть пару раз,

как появлялся уголь. Лагерь поставлял рабочую силу тресту „Экибастузуголь”.

Министерство угольной промышленности перечисляло за наш труд деньги МВД, а рабы-зеки работали за кусок хлеба! Началось строительство укрытия для временного энергопоезда, мехмастерских, деревообделочного комбината (на привозном лесе), кирпичного завода и прокладка путей в карьеры. Зеки должны были строить и стандартные щитовые домики для вольных, хотя в самом лагере не достроили барачков для себя. Наконец, наш этап снова собрали и повели в столовую.

В алюминиевые миски повара шлепнули каши из магары, добавляя по наперсточку растительного масла. Не успели проглотить как у всего этапа началась изжога. Но, мы еще не раз будем потом радоваться каждой миске такой каши. Из магары на воле изготавливают веники, а здесь она шла в наш рацион.

Затем повели в баню, мы сдали вещи в прожарку, откуда они вышли со знакомым уже всем специфическим запахом. После бани — комиссия в составе начальника лагеря Максименко, его зама по режиму Мачаховского, представителя МГБ — „кума” и вольной начальницы санчасти Дубинской. Затем началось знакомство с зеками. Первым прибежал лагерный парикмахер Геннадий Доктерман, маленький, щупленький с крючковатым носом. Выпросил у меня и Л.А.Г. пару сорочек и принес нам буханку хлеба. С каким наслаждением мы ели черный, с примесью, наш первый лагерный хлеб! Парикмахер Доктерман, настоящий „придурак”, имел отдельную кабинку, где стриг и брил не только зэков, но и надзирателей и вольных. В будущем он не раз мне поможет в передаче писем на волю. Познакомился я с Яковым Готманом, евреем из Чарджоу, среднего роста, прихрамывающим из-за фронтowego ранения.



Яков числился инвалидом: на общие работы не выходил. А работать по специальности — зубным врачом — не мог из-за отсутствия инструментов. Через несколько месяцев моя мать прислала набор инструментов и Яков вернулся к своей профессии.

В санчасти, расположенной в дальнем углу зоны, он представил меня хирургу из Минска — Максу Григорьевичу Петцольду, сыну известного автора учебника немецкого языка, по которому училось не одно поколение гимназистов в России.

У Макса Григорьевича работали два фельдшера. Высокий, круглолицый и румяный Степан Аксентюк, из села Броды со Львовщины, был „КТР” — каторжанин (20 лет) и небольшого роста, подвижный и малоразговорчивый венгр из города Надь-Конижаи по фамилии Варкони. Оба встретили меня недоброжелательно, видя во мне не коллегу, студента-медика, а конкурента на должность. Петцольд начал вести в это время переговоры с начальницей санчасти, чтобы с колоннами эзков на объекты выходили и фельдшера — „санинструкторы”. Она согласилась и мне вручили деревянный чемодан с красным крестом, в котором лежало все для оказания первой помощи.

Так я попал в бригады, выходящие на открытые объекты. Мы брали с собой пайку хлеба, выдававшуюся утром, а там, на разведенном костре, грели замерзший хлеб, превратившийся в камень. Он поджаривался на огне и становился вдвое меньше первоначальной пайки — вся вода из хлеба испарялась. Фактически это был уже не хлеб, а поджаренный сухарь. У костра грелись попеременно. Метель задувала пламя, приходилось следить за костром. В спину дул морозный ветер, а спереди было тепло. Садись спиной к костру — получалось наоборот. Конвой стоял окружением с автоматами, сам разводил свой костер, но солдаты были в теплых полушубках и рукавицах. В обед им

привозили горячую пищу в термосах. Вечерами я иногда заходил в амбулаторию, где прием вел высокий, худой, с длинными руками, в сломанных очках — Шубартовский. Он, показывая мне какую-либо травму или рану у ээка, обращался ко мне: „Как вы думаете, коллега?“ В сложных случаях он вызывал из санчасти Петцольда. Потом я выяснил, что Шубартовский не медик, а ксенз, но, зная латынь и будучи человеком грамотным, устроился в амбулаторию.

Я продолжал ходить на общие работы. Ежедневно по два раза в день слушали колонной одну и ту же команду конвоя, сопровождавшего нас с овчарками на поводках: „Внимание заключенные! Шаг влево или вправо конвой считает побегом и стреляет без предупреждения“. И эта фраза запомнилось на всю жизнь. Когда шла темная колонна ээков — все напоминало немецкие лагеря, часто на воле показываемые в кинохронике на экранах. Никакой разницы не было между этими кинокадрами и картинками нашего бытия. Ежедневно, по возвращении, надзиратели устраивали „шмон“, порой заставляя раздеваться на снегу до белья и снимать обувь. Если находили перочинный ножичек, изготовленный на работе, то это грозило карцером.

По лимиту нам полагалось два письма в год. Но я отправлял письма через парикмахера Геннадия Доктермана, который передавал их вольным, приходившим к нему бриться и стричься. Так и не знаю — доходили ли они до Москвы или выбрасывались. А может быть и передавались „к кому“.

Шел к концу 1949 год. Лагерь пополнялся. С одним из этапов прибыл Борис Корнфельд, врач из Одессы. Ему тоже вручили чемоданчик с красным крестом и ходил он на работы с бригадами. С другим этапом из инвалидного лагеря в селе Спасском, прибыл еще один врач, Петров. Он тоже ходил на объекты в качестве санин-

структора. По вечерам, когда бараки закрывались, зэки из Западной Украины начинали петь чудесные народные песни. Я глядел на эту молодежь — цвет нации. Многие из этих ребят воевали в УПА, одни у Бандеры, другие у Мельника. Украинские парни мне imponировали своей честностью, духовностью, прямолинейностью. Среди них было много и таких, которые не воевали, а просто помогали борьбе УПА.

Новостей мы не знали. Что делается в мире — неизвестно. Иногда доходило до нас что-то через громкоговоритель, висевший на столбе в поселке вольных. И то, когда колонна проходила мимо него и шла передача известий. Так мы случайно узнали о войне в Корее. Новый год мы встречали в бараках песнями:

Вы Новый год встречаете свободно,  
У вас в сиянии тысяча огней,  
И в этот день вы пьете, что угодно,  
Но нам от этого, друзья, не веселей,

У нас по-прежнему вчерашняя забота,  
У нас по-прежнему вчерашняя печаль,  
У нас по утрам дальняя дорога,  
А впереди — безжизненная даль.

Вы с Новым годом поздравляете друг друга,  
У вас в бокалах пенится вино,  
А за окном играет у нас вьюга,  
Вы за столом, вы пьете, вам тепло.

А что у нас? Те самые бараки,  
На нарах сотни бьющихся сердец,  
Свеча горит и в темном полумраке,  
Вздыхаем мы: „Да скоро ли конец?“

Вы на балах в костюмах маскарадных,  
Под звуки вальса кружитесь вдвоем,  
А поздно вечером вы, где-нибудь, в парадных  
Подругам шепчете о том, о сем.

Под Новый год вы, счастья нахлебавшись,  
Уснете в белоснежных простынях,

А мы на утро, нехотя поднявшись,  
Пойдем работать снова при огнях.

И так тихонько, годы проживая,  
Мы, каждый, ожидаем своего „звонка”,  
А кто-нибудь на нарах умирая,  
„Вот, – скажет, – где моя судьба”.

Спешите жить, свободой дорожите,  
Бокалы наливайте поплней,  
А в полночь их соедините,  
Чтоб звон дошел до наших лагерей!

### В другой секции барака пели:

Новый год – для многих радость ты,  
С восторгом встретят молодой и стар,  
Шипит шампанское под перебор гитар,  
И пожелания, чтоб сбылись все мечты.

Новый Год – гремели выстрелы,  
А я голодный на чужбине погибал,  
Таких людей, как я, считали „лишними”  
И начертали им надгробный инициал.

Год побед – стремлюсь на Родину,  
Она так нежно всех в объятия звала,  
Звала так ласково в страну „свободную”,  
Призыв звучал: „скорей поправить все дела”.

С вокзалов всех звучало радио,  
В эфире Родины все слышали слова:  
„Скорей домой, друзья, страна развалина,  
Вас ждет отечество и славные дела”.

Новый год, какой суровый ты,  
Взгляни в отечество, какая всюду ширь;  
Хожу под номером, зовут „изменником”,  
С существованием – восточная Сибирь.

Новый год, давно живу так я:  
Барак за проволокой, в бараке под замком,  
На нарах грязных сплю, как все мои друзья,  
В XX веке под штыком и номерком.

Новый год – порядки старые:  
Колючей проволокой наш лагерь обнесен,  
Кругом глядят на нас глаза суровые  
И смерть голодная повсюду стережет”.

Совершенно неважно, что эти песни в душных бараках, на грязных нарах с соломенными матрацами, при тусклом свете „лампочки Ильича”, были плохо рифмованы. Это, безусловно, не было большой поэзией. Важна вся душевная боль униженных и оскорбленных людей, дважды преданных советской властью, режимом в стране.

В феврале 1950 года вспыхнула эпидемия гриппа. В санчасти два фельдшера не успевали обслуживать больных. Дубинская, начальник санчасти, вызвала на помощь меня и врача Корнфельда. Мы целыми сутками носились с раздачей лекарств, вели температурные графики, ставили банки. Я был рад, что надел белый халат и работаю по специальности. Но мое блаженство длилось всего два месяца. Эпидемия начала спадать, к тому же явилась новая начальник санчасти, офицер МВД, некая Бражник, рыжая, худосочная особа, со злым выражением лица. Проверяя личный состав она обнаружила, что я не врач, а лишь студент 4-го курса и распорядилась отправить меня на общие работы. Так я попал в бригаду азербайджанца Кулиева, который отличался особой требовательностью. Мы копали очень глубокий котлован. Настолько глубокий, что ставили деревянные мостки в 3 этажа и тремя перекидками вверх выбрасывали глину. Обливаясь потом, пили воду сомнительной чистоты.

На этот объект выходило много бригад. В бригаде Панина ходил зэк-нормировщик, постоянно с папочкой нормативных справочников, — это был Саша Солженицын. Кто мог тогда подумать, что через несколько лет он станет всемирно известным писателем? На объектах я познакомился и с Георгием Тэнно. Капитан-морьяк он постоянно носил тельняшку, рассказывал как во время войны водил корабли конвоя, сопровождая англичан и американцев с грузами для страны-союзника. А потом, как часто случалось в те страшные годы,—

арест, следствие, обвинение „в шпионаже”, ОСО и 25 лет. Завязалась у нас крепкая дружба и с Иваном Кузнецовым, бывшим офицером. Среднего роста, тихий, прекрасно разбирающийся в обстановке и людях, этот человек прошел со мной весь путь по островам Архипелага. Выходила на объект и бригада Геннадия Шарипова. Шупленький, с узкими прорезями глаз, Шарипов был по-восточному хитер. Умел так поставить дело, чтобы и начальство было довольным выполнением норм и не давить на работяг.

Шарипов работал чабаном в колхозе на юге Узбекистана. В пограничной зоне было неспокойно, часто из Афганистана переходили границу вооруженные банды. В одну из ночей, когда он пас отару баранов, на Шарипова напали бандиты и угнали половину отары через реку в Афганистан. Боясь ответственности и судебного преследования, Шарипов решается на побег. Он плывет на другой берег, но советские пограничники начинают по нему стрелять. Нырря и меня направление, ему удается доплыть до середины реки, когда с другого берега по нему открывают огонь и афганцы. На его крики они прекращают стрелять, и он доплывает до противоположного берега. Геннадия везут в Кабул и сажают в тюрьму. Рассказывая про афганскую тюрьму, он говорил, что наши Лубянка и Бутырки почти курорт. Там, в Кабуле, на большом плацу стояли конуры, к которым приковывали арестантов. Они могли передвигаться, наподобие собак, на четвереньках вокруг своей конуры. Еду и воду наливали в миски и пленники должны были есть по-собачьи. На допросах били беспощадно, требуя признания. Шарипов рассказал как было дело, но избиение продолжалось. Били палками. Не выдержав, он попросился обратно домой. Через пару месяцев его повезли к границе и на мосту обменяли на какого-то афганца. Дальше все шло по знакомому сценарию: тюрьма в Ташкенте, следствие,

требование в МГБ признания — с какой целью его забросили афганцы и англичане; ОСО и четвертак!

В бараке, где размещался импровизированный клуб, в отдельной кабинке жил полный, высокий мужчина, ни с кем из эзков не общавшийся. Он жил, как отшельник, на работы не выходил, числясь инвалидом. Все прибалты в лагере поклонялись ему. Это был бывший адмирал латвийского флота — Спаррэ.

Затем бригаду Кулиева перевели на строительство деревообрабатывающего комбината — ДОК, и я был поставлен тягать тачки, груженные кирпичом. Я не мог никак понять, зачем этот сифизов труд, когда можно бы сгружать кирпич ближе к кладке. Так я работаю все лето 1950 года. В Экибастуз продолжают прибывать этапы. С одним из них из Москвы прибыл иранский летчик, Гасан Парвизпур. Высокий, стройный с красивым смуглым восточным лицом. На объекте знакомлюсь с Андреем Шимкевичем, небольшого роста, с правильными чертами лица и светлой бородкой клинышком. Говорит картавя, с ошибками. Свою историю скрывает. Ее я узнаю только на воле, когда мы встретимся в Москве. Об этом расскажу позже.

В это время в лагерь, где не было ни одного блатного, спецнарядом из Джекказгана прибыли трое „сученых” воров. Троицу возглавлял Александр Золотун. По кличке „Боцман”. Красивое лицо закрывала блатная челка светлых волос, голубые глаза и фиксы на передних резцах. Он не расставался с тельняшкой. Второй — Сергей Шлычков, высокий, долговязый парень, все тело которого было растатуировано до предела. Как-то в бане я разглядывал рисунки на его теле и увидел наколку даже на члене. Третий — Алексей Евдокимов, родом из Керчи. Среднего роста, тоже с челкой светлых волос и фиксой он был серьезен и задумчив. Все трое имели 58-ую, которую они получили видно за побег или попытку к нему. Начальство

сразу поручило „Боцману” формировать новую бригаду и я, на свой страх и риск, в надежде, что будет легче, перешел в бригаду Золотуна. Так и оказалось, „Боцман” не давил на своих бригадников, на объекте мало интересовался работой, спят ли на солнышке зэки или копаются. Но зато все наряды приносил неизменно с перевыполнением 100% работ, что вызывало радость зэков и начальства.

Как-то раз я присутствовал при закрытии нарядов. „Боцман” подносит на подпись вольному прорабу, молодому казаху, заранее написанный наряд. Прораб смотрит на наряд и говорит:

— Кунак, зачем так много написал? Разгрузка досок, подноска досок на 200 метров, укладка досок, такая работа ты не делал, не могу такой бумаг подписать.

— Ты что, падло, — отвечает „Боцман”, — хочешь моих работяг оставить без куска хлеба, тебе что, сука, не жалко зэков?

— Кунак, — снова начинает прораб, — можно немного, я понимаю, написать, но не так.

Тогда подключается к разговору Сергей Шлычков. Он вынимает из-за пояса длинный нож — „саксан”, и, показывая его прорабу, говорит:

— Вот, сука, не подпишешь, не выйдешь за зону живым, а то еще на тебя бригадников натравлю, так они из тебя мясокомбинат сделают, понял?

Прораб бледнеет, но не сдается:

— Ты меня не пугай, я здесь у себя страна-хозяин. Но наряд подписывает. Бригада обеспечена дополнительным хлебом, все довольны, а на прораба наплевать. И так повторялось ежемесячно.

Запомнился и такой случай.

Конвой вел нашу колонну на работу. Начальник, молоденький старшина, вдруг дает команду лечь на землю. Так бывало часто, когда начальник конвоя хотел показать свою власть над беззащитными рабами-зэками.



Все легли на дорогу, а Сергей Шлычков остался стоять. Начальник дает автоматчикам команду стрелять и в этот момент Сергей Шлычков раскрывает грудь, обнажая на ней искусно вытатуированные портреты вождей — Ленина и Сталина и кричит автоматчикам: „Стреляйте, гады!“. Молодые солдаты растерялись, глядят на начальника и на Шлычкова. Тогда начальник дает команду: „Всем подняться и следовать пятерками дальше“. Потом Шлычков мне рассказывал, что часто пользовался этим методом в разных лагерях, в частности в Джекказгане.

К осени 1950 года в Экибастуз прибыл большой этап из обычного ИТЛ, из Ивдельлага, что на Севере, на реке Ивдель. Этап состоял из осужденных по 58-й статье, и поняли мы тогда, что ГУЛАГ продолжает концентрировать всех, получивших срок по этой статье, в Особые каторжные лагеря. Им, как и нам год назад, было странно видеть на одежде четыре больших номера. Но, получив их, сами безропотно пришили к своей одежде и привыкли, как и мы. С прибытием этого этапа в Экибастузе численность эков дошла до пяти тысяч.

Весной 1951 года начальница санчасти решила организовать ОП — „оздоровительный пункт“ для доходяг. Выделили отдельный барак, куда направляли эков с полнейшей дистрофией. Но, чтобы попасть в ОП, надо было пройти комиссию во главе которой была сама начальница. Осмотр производился по принципу: „спусти штаны и покажи свое лицо“. Определение степени дистрофии и истощения шло по ягодицам эков. А у многих их вовсе не было, ибо торчали одни мослы. Меня вызвали из бригады и назначили наблюдать за порядком в бараке ОП. На доходяг было страшно смотреть. Они были бледны, анемичны и настолько истощены, что еле волочили ноги. Помимо общей дистрофии страдали цингой и пеллагрой. Они, в основном, лежали на нарах. От работы, конечно, их полностью

освобождали. „Усиленное питание” состояло из дополнительных к общей пайке 200 граммов хлеба и двух кусочков сахара. Кроме этого им давали к обеду „компот” из сухофруктов, подслащенную цветную водичку. Зато привозили в больших бутылках „витаминозный напиток” — настой хвои. И доходяги с радостью пили эту горечь, видя в ней свое спасение. Через месяц-полтора их списывали снова в рабочие бригады, еще не поправившихся от авитаминоза, таких же исхудавших. За летний период 1951 года через барак ОП прошло несколько сот доходяг. Это был, так называемый, гуманный жест со стороны начальства ГУЛАГА.

Но и в бараке ОП не обошлось без трагического случая. Один кавказец, не получавший никогда посылок, вдруг получил с далекой родины заветный ящик. Не желая ни с кем делиться, он запрятал все его содержимое под матрац. Ночами, когда все спали, стал с жадностью поглощать сухофрукты. На утро его с сильными болями в животе отправили в санчасть, где опытный хирург Петцольд диагностировал заворот кишок. Хорошо, что к этому времени санчасть получила „малый хирургический набор” и в одной из секций организовали операционную. Операция прошла удачно. Но на пятые сутки кавказец скончался от перитонита. Антибиотиков в санчасти не было. С эком поступили „согласно инструкции”. Привязали к пальцам ноги деревянную бирку с номером, вынесли к вахте, где у ворот охрана и надзорсостав прокалывали труп несколько раз штыками, дабы убедиться, что это действительно мертвец, а потом на подводе увозили в неизвестном направлении для захоронения.

Свидания в Особых лагерях были запрещены. И все же, в эту зиму приехала жена одного эка. Как она ни просила и ни умоляла начальство, ей в свидании отказали. И вот стоит на морозе, при сильном ветре, за зоной женщина и плачет. А по другую сторону колю-

чего заграждения стоит муж с 4-мя номерами на одежде, боясь близко подойти к проволоке, ибо часовой с вышки может начать стрелять в любой момент. Они что-то кричат на ветру, ветер уносит слова и фразы... Начальство выполняет инструкцию. Кто сделал этих людей такими жестокими? Ответ один — власть!

... Моя невеста, Вероника Воронкина, слала мне регулярно ободряющие письма, без страха писала в различные инстанции о моей невинности.

Как-то раз, придя из ОП в свой барак, я застал надзирателя, копавшегося в моих вещах и читающего письма. Я обругал его, заявив, что письма проверены лагерной цензурой и он не имеет права их читать. А на следующий день меня отправили на 5 суток в карцер „за оскорбление”. В БУРе я увидел ксенза Шубартовского, который так же сел за „оскорбление” какого-то надзирателя. Нам давали в день 200 граммов хлеба и кружку кипятка. Несмотря на голод, 5 суток пролетели быстро и незаметно. Шубартовский был отличным рассказчиком. Рассказывал о своих поездках в Рим, в Ватикан, о путешествии по Европе. Я рассказывал ему про Москву, про Союз. Он постоянно поправлял очки, падающие с носа, без дужек и с поломанными стеклами. Мне искренне было жаль этого польского интеллигента. Я не расспрашивал, за что он сидит. Это считалось нарушением всякой этики. Если зэк сам про себя ничего не рассказывает — не расспрашивай.

Когда начали приходиться посылки и было организовано „посылочное бюро”, стало несколько легче. На столбе возле ворот висела дощечка с фамилиями получивших посылки. Вечером все бежали искать свою фамилию в списке, а потом бежали в „посылочное бюро”. Там надзиратель вскрывал заветный фанерный ящичек, разрезал все, протыкал шилом и выдавал эку содержимое. Половина уходила сразу на угощение друзей. Помогали мы, кто как мог, и иностранцам, оторван-

ным от своей родины. Остаток съедали опять же с друзьями за 2-3 дня, потом ждали месяц очередной посылки. Эти картинки с посылками прекрасно описаны у Солженицына. Много лет спустя, когда собирались вместе экибастузцы-москвичи, вспоминали тех, с кого писатель писал свою повесть.

Весь тяжелый уклад, несправедливость осуждения, желание свободы и избавления от рабского положения приводили к побегам. Четыре побега, что на моей памяти произошли в Экибастузе, привели к горькому разочарованию и оставили в душе сознание безысходности нашего положения. Первый побег был совершен тройкой смельчаков в декабре 1950 года. В течение 10 суток бушевала пурга, завалившая все строения и бараки громадными сугробами. Надзирателям самим пришлось расчищать сугробы возле барачков, чтобы выпустить зэков за едой в столовую. Сугробы пролегли и на запретзоне. Тройка, выйдя в пургу из барака, ползком между сугробами перешла две линии проволочного ограждения и оказалась вне лагеря. Проверок все 10 дней не производилось. Схватились лишь на 11-ый. Спустя несколько дней беглецов привезли обратно в лагерь. Они ушли далеко, были под Омском. Второй побег был осуществлен группой зэков, проживающих в бараке, близком к запретзоне. Они долго делали подкоп под барачком, проделывая лаз за переделы лагеря. Землю выносили с парашей, остальную бросали на чердак и там маскировали под шлаком. Когда лаз был готов, смельчаки ночью стали выходить за зону, но по случайности были обнаружены. Третий и четвертый побеги отличались особой дерзостью. Третий побег совершен был летом в рабочей зоне. Шофер — вольный, привозивший стройматериалы в зону, оставил самосвал без присмотра. Солнце клонилось к горизонту, был конец рабочего дня. В самосвал неожиданно вскочил Иван Воробьев, в кузов его напарник — мо-

лоденький парнишка. Воробьев на полном ходу прорвал проволочное ограждение и выскочил на дорогу. Часовые на вышках не поняли даже что произошло и опомнились только когда машина была уже на горизонте. Через день избитые беглецы были доставлены в лагерь.

Четвертый побег был самым дерзким. Капитан Тэнно с молодым напарником по фамилии Жданок вечером проползли под проволочным ограждением, почти под самой вышкой часового. Ушли они далеко. К реке Иртыш. Обнаружены были совершенно случайно через месяц и доставлены в лагерь.

К концу 1951 года в Экибастузе было примерно 5 тысяч эков. Основной контингент составляли украинцы-бандеровцы, затем русские, за ними по численности шли прибалты, потом мусульмане из Средней Азии, далее кавказцы и евреи. Евреи постоянно составляли 1% от общего количества эков. Так было и в других лагерях.

К этому времени начал функционировать нелегальный лагерный совет из числа наиболее авторитетных эков. Создан он был по инициативе бандеровцев, имевших большой опыт подпольной работы в ОУН и УПА. От украинцев входило 4 человека, от русских — 3, от прибалтов — 2, от кавказцев — 1, от среднеазиатов — 1 и от евреев пригласили меня. Я часто в бараках и на работах беседовал с молодежью из сел и хуторов Западной Украины, рассказывал им, что слова „Москва” и „Кремль” — нельзя ассоциировать ни с русскими, ни с другими народами, страдающими от режима не меньше, чем они. Я рассказал им о вечно гонимом еврейском народе, начиная с исхода из египетского рабства, через инквизицию средневековья и кончая коммунистическим антисемитизмом и борьбой с „космополитизмом и сионизмом”. Рассказал о рассеянии евреев, о том, что

сам Христос был набожным евреем по имени Иешуа, что он восставал против церковников, грабивших народ, что его предал один из его же учеников — Иуда Искарот. И что казнили Христа завоеватели, римляне, во главе с Пилатом. Многие они слышали впервые. Рассказал я им и о том, как большевики нарушили свое соглашение с Украинским правительством и положили начало уничтожению национального самосознания украинского народа.

Сначала Совет обсуждал как поступать с бригадирами, на которых поступали жалобы. Их вызывали на Совет, который собирался по вечерам в какой-нибудь пустой секции и предупреждали, чтобы они не давили на работяг. После таких бесед часто менялось отношение бригадиров к зэкам. Потом перешли к вопросу о стукачах. Прежде всего надо было их выявить. И тут подвернулся удобный случай: „куму” — представителю МГБ — потребовался дневальный. И мы подослали к нему парнишку — украинца, который мыл у него пол, топил печь, подносил дрова и уголь, а вечерами докладывал нам, кто ходит регулярно „стучать”. Совет вызывал их по одному вечерами. Я видел этих жалких людей, которые предавали своих же товарищей и непонятно на что надеялись. Некоторые из них становились на колени и слезно просили прощения, обещая порвать связь с „кумом”. Решение Совета зависело от тяжести последствий доноса стукача. Иногда стукача прощали, но устанавливали наблюдение. Если это был злостный стукач принималось решение о его ликвидации. Вопрос решался единогласно. В исполнителях недостатка не было. Кому-то „упал на стройке кирпич на голову”, кто-то „упал с лесов”, кого-то утром при открытии барака надзиратель находит „повесившимся”. А потом пошли уже и в открытую: рассекали голову топором на стройке, зарезали ножами в бараке. К этому времени относится и назна-

чение новым нарядчиком Василия Щеголя — здоровенного рыжего верзилы с веснушчатым лицом и крючковатым носом. Желая выслужиться перед начальством, он после развода бригад на работы ходил по зоне с палкой и, поймав какого-нибудь доходягу, начинал его избивать. Было принято решение ликвидировать Щеголя. Но он за зону не выходил. Тогда его подкараулили между бараками и нанесли ему двенадцать ножевых ран. Окровавленный Василий Щеголь побежал на вахту с криком: „Спасайте, убивают”. Исполнители прикончили его на глазах у охраны. Но они были без обычных масок и их скоро нашли в зоне и посадили в БУР. Новым нарядчиком был назначен Матвей Адашкин. Не забывая печальную судьбу своего предшественника и понимая обстановку в лагере, он начал искать связи с лагерным Советом. Он был предупрежден, чтобы вел себя благоразумно в отношении остающихся в зоне эков и Адашкину, старому лагерному волку, повторнику, отсидевшему свой первый срок еще в 30-х годах, удавалось как-то лавировать. Его ближайшим другом был москвич Михаил Гиндин. В прошлом крупный работник Госбанка СССР. Оба „тянули” по второму сроку.

К этому времени относятся и два убийства в лагере, не санкционированные Советом. Оба они осуждались как неоправданные, ибо произошли из мести на личной почве, глупо и безрассудно. К врачу Борису Корнфельду пришли здоровые парни, когда он вел амбулаторный прием и потребовали освобождения. Корнфельд имел строгий лимит на освобождения и не мог отправить на работы больных, оставив в зоне здоровых. Тихий, боязливый Корнфельд молчал и боялся пожаловаться членам Совета. Так произошло убийство в санчасти.

Второе убийство произошло в зоне. Москвич Бендер держался как-то особо, ни с кем не общался. Работал на овощехранилище, которым заведовал вольный

казах. Отлучаясь, казах оставлял Бендера за себя. К концу рабочего дня казах разрешал экам набирать ведро картошки. А тут, пользуясь его отсутствием, эки начали набирать не одно ведро, а несколько. Бендер, строя из себя хозяина, начал возражать. Вроде ему было жаль казенной картошки для своих же голодных товарищей. Только после его убийства мы узнали, что был он американским куммунистом, приехавшим в СССР в 30-е годы, вдохновленный „строительством светлого будущего”. Последние годы, якобы, работал на хозяйственной работе в американском посольстве. Через ОСО получил 25 лет за шпионаж, когда ему было уже около 60 лет. Так бесславно закончил свою жизнь американский коммунист в лагере Экибастуз. Убийцы были наказаны лагерным Советом, но с того света никого не вернешь.

Когда неразоблаченные стукачи поняли, что их жизни висят на волоске, многие из них стали собирать монатки и уходить на вахту, прося начальство об отправке в другой лагерь. А начальство вместо этого стало сажать их в БУР. Таким образом получалось, что в БУРе, в разных камерах, сидели стукачи и наши ребята.

Морозным вечером 21 января 1952 года, когда все вернулись в зону, вдруг раздались крики из БУРа. То были крики о помощи наших ребят. Начальство устроило в БУРе подлинную провокацию, открыв двери всех камер. Стукачи, пользуясь численным преимуществом, начали избивать, душить наших ребят, требуя признаний — кто инспирировал убийства стукачей. Чтобы спасти наших товарищей, надо было проникнуть в БУР. Сотни эков бросились ломать деревянный забор. На морозе слышался треск ломающихся досок. Неожиданно, неизвестно по чьей команде, начали строчить автоматы со всех четырех угловых вышек. Толпа эков стала разбегаться и прятаться кто где мог. Пули застревали в стенах барачков, попадали в окна. В 9-м



бараке наповал были убиты два эстонца, отец и сын, сидевшие у окна и мирно доедавшие свой ужин. Так же внезапно стрельба прекратилась. Некоторые раненные потянулись в санчасть, другие спрятались в бараках. И тут через широкие ворота лагеря вошел целый взвод войск МВД. Началась стрельба веером по зоне. За взводом шли надзиратели. Железными ломami они избивали всех, кто попадался им на пути. Цифры убитых и раненных точно не были известны.

Совет стал передовать в бараки сигналы о начале всеобщей голодовки с завтрашнего дня в знак протеста. Утром, когда открыли бараки, ни один зэк не пошел в столовую, никто не вышел за пайками хлеба. Все лежали на нарах. Никто не обратил внимания и на сигнал к выходу на линейку и на работу. Лагерное начальство, впервые столкнувшись с таким единодушием, заволновалось. Вместе с надзирателями стали обходить бараки. Сначала требовали, потом стали просить. Но бригадиры отвечали: „Зэки нас не слушают, ничего не можем сделать”. Общая голодовка с невыходом на работу длилась 5 суток. Решение закончить голодовку было принято Советом в связи с тем, что многие зэки от слабости не могли даже подняться с нар. 27 января задымила кухня и начали разносить пищу по баракам тем, кто не мог дойти до столовой. 29 января прилетело начальство из Управления Степлага. Комиссию возглавлял подполковник Белов, заместитель начальника Степлага. В белых полушубках они вошли в зону, сели за длинный стол, вынесенный на середину линейки и были сразу окружены толпой зэков. Начались выкрики: „К расстрелу наших убийц”, „Кто дал право стрелять в безоружных зэков?” Были предъявлены письменные требования, заранее составленные Советом:

*1. Судить открытым судом виновников расстрела зэков в зоне лагеря.*

2. Снять фашистские номера с одежды.
3. Начать оплачивать наш бесплатный рабский труд.
4. Установить строгий 8-часовой рабочий день.
5. Снять все ограничения, включая переписку.
6. Освободить всех ээков из БУРа.
7. Прекратить закрывать бараки на замки.

Начальство удалилось в предбанник, куда вызвало всех бригадиров на совещание. Пообещав связаться с Москвой, уехало восвояси. Через полмесяца было объявлено о якобы расформировании лагеря. Нас вызвали на этап. Но лагерь остался. На первый этап попал в списки и я. Пришлось распрощаться со многими друзьями, с некоторыми ненадолго, с другими на годы. За воротами лагеря ждали грузовики, в кузове каждого по два конвоира-автоматчика. Загнав по 30 человек в кузов, колонна из 10 машин понеслась по заснеженной степи.

Заканчивая главу об Экибастузе, мне, читавшему вместе с бывшими ээками-экибастузцами в самиздатовской перепечатке „Архипелаг-ГУЛаг”, хочется отметить некоторые неточности у А. Солженицына:

1) Автором и исполнителем песни „Женушка-жена” был Николай Черкасов, а не Женя Никишин, как указано в „Архипелаге”.

2) Осада БУРа и открытия огня с вышек по лагерю было 21 января — этот день всем запомнился хорошо, ибо совпадал с днем смерти „вождя революции”, а не 22 января, как указано у Солженицына, где эта дата связана с 9-м января по старому стилю и историческим событием на Дворцовой площади в Петербурге.

3) В осаде БУРа, наравне со всеми, принимали участие и украинцы-бандеровцы, перелезшие через саманную стену из другой зоны, а их участие у Солженицына в этом эпизоде затушевано и совсем не отражено.

По соображениям, которые не требуют объяснений, имен и фамилий бывших зэков-экибастузцев я назвать не могу. Только в личном письме Солженицыну я назвал тех, чьи имена удержала память.

Безусловно, что эти неточности не являются сугубо принципиальными и ни в коей мере не умаляют ценности и всех достоинств большого эпохального труда писателя.

Одновременно с этим, провожавшие меня в 1982 году в эмиграцию бывшие зэки-солагерники, которым я обещал издать свои воспоминания, просили передать А. Солженицыну самые сердечные пожелания, что я и выполнил в личном письме писателю.

## *Глава пятая*

### ЛАГПУНКТ ЧУРБАЙ НУРА

Поздно ночью колонна грузовиков подъехала к маленькому пустующему лагерю. По всему было видно, что лагерь новый, необжитый. Предназначался он по плану явно не для нас. Но начальству Степлага было важно отделить экибастузских бунтарей от основной массы эков. Мы быстро доели свой суточный паек — хлеб с селедкой и свалились на пахнущие еще свежим деревом нары.

На следующий день начали осваиваться. Выделили дневального, повара, фельдшера в амбулаторию. В амбулаторию я не пошел, уступив по просьбе ребят это место латышу Рудзитису. Новое наше место пребывания называлось: Чурбай-Нура. Здесь были обнаружены большие запасы угля, но в отличие от Экибастуза, залегали не на поверхности, а на большой глубине. Нашей задачей была проходка глубоких стволов угольных шахт. Начали под конвоем выходить на объект. Однако никто не хотел „пахать”, делали вид, что копошимся. Все обсуждали недавние события в Экибастузе. Было

мнение, что практически наша коллективная забастовка ничего не дала, что это была лишь проба сил. Но зато всем стало ясно, что с режимом можно бороться только всем вместе. И решили мы, что независимо от сроков, от национальной принадлежности, будем и дальше действовать только коллективно. В БОРЬБЕ С РЕЖИМОМ ВСЕ РАВНЫ!

В один из ближайших вечеров при обходе надзиратель обругал меня матом. Ребята смотрели как я буду реагировать. Чувствуя поддержку, я размахнулся и ударил надзирателя по лицу. Его фуражка покати-лась на пол. Ничего не сказав, он поднял ее и под свист и смех эзков ушел. На следующий день постановление: Бадаш в БУР на 10 суток. Другой надзиратель повел меня между рядами колючей проволоки по дорожке, простреливаемой с вышек. БУР находился на территории, примыкающей к зоне. Благо пол тут был деревян-ный, а не цементный, как обычно. Я развалился на полу и уснул.

В эту ночь опять снились картинки детства.

... Вот, я сижу на руках у матери на свидании с отцом в Бутырской тюрьме, а потом конючу целыми днями: „Мама, когда мы пойдем в БУТЫЛКИ?“... Вот на санях еду с родителями по льду замерзшей Оби в село Калпашево в ссылку. Там мы с отцом ходим на отметку в ГПУ. Это в единственном двухэтажном доме в Калпашеве, тут же и исполком. Возле дома на цепи привязан бурый медведь и все мальчишки его дразнят. ... Вот в дагестанском городе Буйнакске, бывшем губернском Темирхан-Шуре, я сажусь верхом на жеребца, мне помогает бывший хозяин конного завода старик Алибеков, и, гордо держась за луку седла, я скачу по улицам городка. ... Снова Москва. Мать стоит в очереди в кассу магазина „Торгсин“, отдавая свои последние обручальные кольца для покупки муки, а я, заморожен-ный, слушаю в промтоварном отделе пластинку „Чер-

ные глаза” в исполнении Юрия Морфесси. ...Вот ватагой бежим в Александровский сад и играем в футбол возле грота, у самой кремлевской стены.

Каждую ночь кто-то подкрадывался к БУРу и бросал в окошечко хлеб и сахар. Через 10 дней узнаю, что это был молоденький белобрысый парнишка Василий-со Станиславщины. Это он подлезал под простреливаемую проволоку, выполняя поручение руководителя Совета. Да можно ли забыть всех друзей, с кем нес тяжкий крест свой? Здесь и Степан М. с Ровенщины, Юрий М. из Черновиц, Сергей К. с Ровенщины, Владимир И. со Львовщины, Олег Д. с Волыни, Иван М. из Запорожья, Степан П. со Львовщины.

Незаметно подкралась весна. Снег начал таять, солнце пригревать. Продолжая обсуждать события в Экибастузе, мы понимали, что свободы добиться никогда не сможем, но облегчить жестокий режим мы в состоянии. По вечерам, как обычно, пелись песни. Кто-то из русаков запевал на мотив известной песни:

„Широка страна моя родная,  
Много тюрем в ней и лагерей,  
Я другой страны такой не знаю,  
Где б так зверски мучили людей”.

и т. д.

Через пару месяцев была дана команда собраться на этап. Мы подготовились, как заправские лагерники: припасли хлеб, табак, некоторые попрятали ножи в бушлаты и телогрейки. Предчувствовали, что теперь уже повезут далеко. В Степлаге, в Казахстане, нас не оставят. Придется ехать на новые „ударные комсомольские стройки”. Здесь, в Чурбай-Нуре, труд был нам безразличен, да у большинства еще и сроки по 25 лет. Зэкам надо было себя беречь. Десятка, как у меня, была у немногих. При перекличке мы заметили на конвертах красные полосы — так отмечались бунтовщики. Сажали нас, по-прежнему, по 30 зэков и по два конвои-

ра в кузов. Тесно, не шевельнуться. К концу дня мы приехали в Караганду, где на окраине города была расположена центральная пересылка Степлага. Сразу увидели своих из Экибастуза. Здесь были братья Николай и Петр Ткачуки, Виктор Цурленис, Иван Кузнецов, Анатолий Гусев и другие из лагерного экибастузского Совета. Словом, собрали тех зэков, от которых начальство хотело побыстрее избавиться.

## Глава шестая

### ЗАПОЛЯРЬЕ. ГОРОД НОРИЛЬСК

*„Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колес? Это едут столыпины. Это едут краснухи. Во всякую минуту суток. Во всякий день года. А вот хлюпает вода — это плывут арестанские баржи. А вот рычат моторы воронок. Все время кого-то ссаживают, втискивают, пересаживают...”* (А. Солженицын. „Архипелаг ГУЛаг”, том 1, стр. 579).

Ранним погожим утром на территорию карагандинской пересылки подали большой состав из 60 товарных пульмановских вагонов. Началась посадка. По 55-60 эков в вагон. Выдали сухой, стандартный паек: хлеб, селедку и сахар. На площадках каждого вагона — конвой. Двери вагонов закрыли на засовы и на два замка и тронулись в путь. Стоя на самодельных чемоданчиках и узлах, следили мы в зарешеченные окошечки за названиями станций. Проехали Темир-Тау, затем Петропаловск, Омск, Новосибирск. Эшелон шел почти без остановок. На редких остановках конвой нехотя приносит бачки с водой, стучит деревянными молотками по стенам и полу каждого вагона, про-



веря не подпилены ли доски. В Красноярске — выгрузка. Небольшими партиями воронки забирают нас с запасных путей, где мы сидим на вещах. В кузове как в парилке. Снова одно и то же: фамилия, статья, срок, конец срока. Красноярская пересылка расположена на косогоре, с которого видна часть города, а под нами течет Енисей. Здесь на пересылке командуют блатные. Но при виде нашего многочисленного этапа они поджимают хвосты. Они всегда смелы, когда имеют численное преимущество. А теперь, видя нашу сплоченность, не смеют приставать. Но и мы блатных игнорировали. Они — в своих бараках, мы заселили другие, пустующие.

Через несколько дней к маленькой пристани под косогором причаливает буксирный пароходик с баржей. Весь наш казахстанский этап ведут гуськом к пристани и сажают в баржу. Ложимся на пол трюма, в углу бочка-параша. Пароходик медленно ползет вниз по течению. Проезжаем Енисейск, Туруханск. Вспоминаем, что здесь обитал в ссылке „хозяин страны”. Далее следует Игарка. Выносящие наверх парашу, рассказывают о большом порте с кранами и океанскими пароходами у причалов. На утро причаливаем к Дудинке. Снова подсчет и сверка. Дудинка — поселок из маленьких одноэтажных домиков. На берегу вольные работают на разгрузке барж. Выстраиваемся колоннами по пять в ряд и идем окраиной поселка пока не упираемся в узкоколейную железную дорогу.

Конвой распределяет нас по вагонам. Солнце светит, но не греет. Проезжаем унылую тундру, редкий кустарник на равнине. Холодно. Приходится надевать телогрейки. Через пару часов нашему взору открывается город — большие каменные здания, башенные краны, дымят трубы медеплавильного комбината. Слева, над городом, словно часовой, высокая гора Шмидта, у подножья которой раскинулось большое кладбище.

Справа — Медвежья гора, но за ней не видно ни поселка, ни рудников. Это — Норильск. Посреди города дымит небольшой заводик под секретным обозначением № 25 — здесь идет отделение редких металлов от медной руды. От станции длинной колонной ведут нас через весь город. Местные жители не обращают на эков никакого внимания. Здесь это обычное, будничное явление.

К вечеру норильские эки возвращаются с работы в городе. Идут обычные поиски земляков, знакомых. Знакомлюсь с двумя москвичами. Роман Брахтман. Сидит за попытку побега за рубеж. Макс Григорьевич Минц-Минаков, еврей, но по своей внешности — типичный славянин. Он уважаем среди эков, информирует нас о положении в Горлаге, как именуя норильские лагеря: режим тот же, что и был в Степлаге, процветает стукачество, бригады — эти вечные придурки — давят работяг. Горлаг имеет 6 отделений: 1-ое за Медвежьей горой — рудники (штрафное); 2-е отделение мы проехали по дороге от Дудинки — это поселок Каэркан (угледобыча). 3-е и 4-е и это, 5-ое, как и 6-е, женское, находятся в черте города. На следующее утро выхожу с бригадой плотников на объект, где мы навешиваем рамы на окна и подгоняем двери в домах.

Ткачуки связываются с хирургом Омельчуком, имеющим вес и авторитет у начальника санчасти вольной Евгении Александровны Яровой, и просят повлиять на нее, чтобы меня взяли на работу в больницу, как своего из казахстанских бунтовщиков. Одновременно и Макс Минц через рентгенолога Ласло Нусбаума просит поговорить обо мне с начальницей. Через месяц я получаю разрешение на работу в санчасть в 4-м лагпункте. Среди медперсонала, кроме Омельчука и Нусбаума, — Генкин, Реймасте, Горелик, Гуревич. Познакомился и с Борисом Янда. Из-за какого-то скандала начальство не допускало его на работу в больницу. Находясь

несколько лет в Норильске, где не было никакой организации ээков, где процветало стукачество и произвол придурков, Янда никак не мог понять силу нашего коллектива из Казахстана, его влияние на жизнь в лагере и относился ко мне с подозрением и недоверием.

Я не претендовал на врачебную должность, понимая, что я был всего лишь студентом 4-го курса мединститута и обрадовался, когда меня направили в помощь врачу Рэймастэ в туберкулезное отделение, занимавшее весь 2-ой этаж больницы. Там лежали тяжелые больные с кавернозными формами ТБЦ. Лечение проводилось вливанием хлористого кальция, которые блестяще делал фельдшер Горелик и пневмотораксом, который проводил сам Рэймастэ. Через некоторое время я научился делать поддувания на аппаратах и Рэймастэ доверил мне самостоятельную работу. Кроме того, я вел истории болезней, водил больных на рентген. Рэймастэ был малоразговорчив, строг и серьезен.

В секции, где жили медработники дневальным был немец по фамилии Кюндель. Он часто вытаскивал из кармана пожелтевший листок с приговором военного трибунала к пожизненному заключению, но на вопрос — за что? — от ответа увиливал. Кюндель ухаживал за секцией с немецкой аккуратностью и был рад, что не ходит на общие тяжелые работы.

Вообще в Особых лагерях все смешалось и перепуталось: здесь были нацисты, расстреливавшие евреев, и были евреи, осужденные „за космолитизм и сионизм”. Здесь были полицаи, выдававшие немцам евреев и сами участвовавшие в расправах над евреями, и офицеры советской армии. Здесь были солдаты из частей РОА и солдаты, стрелявшие во власовцев. Все были связаны одним узлом — заключением в Особом лагере.

Мое внимание привлекла группа японцев. Они носили меховые шапки японского покроя, мало общались с остальными ээками, принципиально не хотели учить

русский язык. Это были вояки из известной Квантунской армии, захваченные в плен советскими войсками в конце Второй мировой войны. Я обратил внимание, что многие из них страдали гипертонией. Возможно это было результатом влияния заполярного климата.

В Норильске я познакомился с американцем Иосифом Лернером. Высокий, стройный, он уже прилично говорил по-русски, отсидев несколько лет в Норильске. Голодал он постоянно. Было очень интересно познакомиться с Анатолием Шульцем, родившимся в Харбине. Он много рассказывал о жизни в эмиграции, о русской колонии в Харбине. Анатолий закончил там русскую гимназию, был начитан, владел китайским языком. Рассказывал о приезде Вертинского, дававшего благотворительные концерты в пользу русской колонии. Анатолий не признавал М.Горького за писателя, называя его „босяком”, а о Маяковском и слышать не хотел — это, мол, подонок. Боготворил Булгакова, Леонида Андреева, Бунина, Куприна — всех, кого нам десятилетиями запрещалось читать. Человек он был веселого нрава, никогда не унывал. Было такое впечатление, будто он не в Особом лагере сидит, а прогуливается по бульвару на свободе. Любил петь старинные русские романсы. Любимым был: „Пара гнедых, запряженных зарею...”

Мы прошли вместе весь остальной путь по островам Архипелага и очень тепло расстались в 1955 году на Колыме, когда многих стали освобождать. Дальнейшей его судьбы я не знаю.

## *Глава седьмая*

### **НОРИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ**

5 марта 1953 г. по лагерю прошел невероятный слух о том, что умер Сталин. Многие отнеслись к этому с недоверием, но к вечеру пришедшие с „Горстроя” бригады подтвердили это сообщение, услышанное ими в городе по радио, посреди неустанно передававшихся траурных мелодий.

Смерть эта вызвала в лагере и радость среди заключенных (некоторые бросали вверх шапки, пели и смеялись), и чувство какой-то неуверенности, неопределенности. Каждый задавал себе вопрос: „Кто же будет следующим вождем? Как отразится смерть этого „гения всех наук” на спецлагерях и заключенных?” Ясно было одно: в любом случае положение заключенных хуже быть не может.

Прошло два месяца после этой радостной даты, наступили майские праздники. Надо отдать должное лагерному начальству: революционные и коммунистические праздники они блюли свято, даже несчастных заключенных в эти дни не выгоняли на работу. Люди

писали письма „на волю”, беседовали в бараках, отсыпались и отдыхали, не ведая, что ожидает их на следующий день.

К этому времени в некоторых бригадах нарастало недовольство бригадирами — местными норильчанами, на совещаниях бандеровцев говорилось о грубости некоторых надзирателей.

3 мая на лагерную вахту были вызваны несколько заключенных — то ли для отправки в другой лагерь, то ли на какие-то работы. Конвой, как обычно, стоял за воротами, ожидая выхода заключенных. За воротами один заключенный, увидев, что их хотят перебросить в другое место, категорически отказался идти. На все увещевания и приказы конвоя он мотал головой, потом лег на промерзлую землю и отказался встать. И тогда начальник конвоя отдал команду: „Стрелять!” На глазах у группы заключенных, стоявших рядом, и у многочисленных заключенных по ту сторону ворот — солдаты из автоматов прошили пулями лежащего. Весть об убийстве пронеслась по лагерю с молниеносной быстротой, руководство национальных групп решило объявить голодовку с невыходом на работы. По домам и баракам ходили связные, предупреждая, чтобы на работу никто не выходил, в столовую — тоже, чтобы все лежали на нарах и койках и барачников не покидали.

Заключенным, находившимся на работах в „Горстрое”, т.е. на объектах вне лагеря, сообщили о начале голодовки и дали указание: не возвращаться в лагерь (вторая, вечерняя смена на стройке) — что ими было выполнено.

В результате получилось, что половина заключенных была на территории лагеря, другая — на территории строительных объектов в городе и не возвращались в зону. Записками, а также сигналами с крыш сообщали о начале голодовки на соседний, 5-й лагпункт,

и 5-й лагерь полностью не вышел на работы. Далее слух о голодовке пошел на 6-й (женский) лагерь, и он тоже поддержал 4-й и 5-й лагеря.

На объектах „Горстроя” приостановились все работы и у вольнонаемных: не подавался кирпич, не подвозились машины и стройматериалы, ушли по домам вольнонаемные проектировщики и инженерно-технический персонал. Жизнь в городе была парализована.

Прошло четыре дня. За это время руководители групп составили письма с требованиями. Местное лагерное начальство было обескуражено и не знало, что предпринять. Впервые столкнулись они с массовой голодовкой-забастовкой — метались за зоной, совещались в городе, и в конце концов 7 мая в Норильск прибыл спецсамолет с высокими чинами для выяснения обстановки в городе и лагерях. Это была действительно представительная комиссия. В нее вошли: от МГБ — полковник Кузнецов, от ЦК — некто Алексеев, от Прокуратуры СССР — зам. Генерального Прокурора Вавилов, от администрации Норильского горно-обогатительного комбината — его директор, член ЦК Завенягин, прилетевший из Красноярска (его имя ныне носит металлургический комбинат в Норильске).

Комиссия вошла в зону 4-го лагеря в окружении многочисленной охраны с автоматами наизготовку, готовой открыть огонь по заключенным в любую секунду. У ворот собралась колоссальная толпа заключенных, и руководители вручили комиссии письма-требования: одно письмо было написано на имя министра госбезопасности Л.П. Берия, другое — в ЦК. Требования перекликались с теми, которые мы когда-то предъявляли начальству Степлага еще в Экибастузе, при первой забастовке в 1951 г., — новым, носящим политический характер был первый пункт:

1. Пересмотреть все заочные, незаконные постановления Особого совещания МГБ, пересмотреть незакон-

ные приговоры военных трибуналов и освободить всех, заключенных по ним.

2. Снять позорные, унижающие честь и человеческое достоинство номера с одежды заключенных.

3. Разрешить переписку с родными и близкими без ограничения (нам полагалось 2 письма в год).

4. Сократить рабочий день до восьми часов.

5. Ввести „зачеты” — систему, существовавшую в обычных лагерях, где день работы засчитывался за два дня заключения.

6. Ввести оплату труда (вместо бесплатного рабского труда за скудную еду).

7. Разрешить свидания с родными.

8. Разрешить чтение газет и журналов.

9. Судить и наказать виновников убийства ни в чем не повинного заключенного 3 мая у лагерной вахты.

Требования были переданы письменно и изложены комиссии устно. Комиссия приняла письма, выслушала требования и обещала немедленно решить все вопросы в Москве, о чем „будет сообщено заключенным”. Одновременно комиссия просила всех заключенных вернуться на работы, а ту смену, что трое суток голодала на объектах, — вернуться в лагерь, и пообещала удовлетворить часть требований немедленно.

7 мая, по распоряжению руководителей восстания, вторая смена под конвоем двинулась в зону. Шли медленно, так как за трое суток голодовки на объектах очень ослабли. Но не дошли они еще до зоны, как надзиратели и конвой начали „выдергивать” из колонны отдельных заключенных — руководителей забастовки на объектах и насильно сажать их в заранее подогнанные грузовики. Их увезли в неизвестном направлении — остальные вернулись в зону.

Известие об изоляции и вызове в неизвестном направлении руководителей забастовки привело к тому,



что 8 мая была дана новая команда о начале всеобщей забастовки. На всех бараках и домах в зоне были подняты черные флаги, ни один надзиратель в зону не заходил. Руководство забастовки взяло на себя и руководство всей жизнью внутри лагеря.

Черные флаги были подняты и на крышах бараков в 5-м и 6-м лагерях. Слух о восстании-забастовке молниеносно пролетел по всем отделениям Горлага.

Всех руководителей и инициаторов забастовки-восстания я знал лично. В основном, это были заключенные из моего казахстанского этапа 1952 г., но к ним присоединились и „местные” зэки. Среди них Макс Минц, Иосиф Лернер, Станислав Нурко, Борис Янда. Близкие мне по казахстанскому лагерю братья Николай и Петр Ткачуки руководили всеми украинцами.

Эта вторая всеобщая забастовка приняла затяжной характер. Шли дни и недели, заключенные сидели в зоне, ни один человек не выходил на работы. Все, начиная от распределения продуктов на кухню и кончая кормлением в столовой бригад, управлялось самими заключенными. Порядок в лагере был четким, злоупотреблений не было.

Недалеко от столовой было большое футбольное поле с двумя воротами. Никто никогда им не пользовался: заключенным, измученным работой, было не до футбола. Сейчас же, отлежавшись и несколько недель отдохнув, некоторые от безделья начали гонять мяч, создали команду — надо было убивать долго тянувшееся время. Время казалось долгим еще и потому, что солнце в Норильске светило постоянно, не заходя за горизонт, — это путало дни и ночи, путало часы.

Черные флаги на домах и бараках продолжали развеиваться повсюду.

В Центральной больнице жизнь и работа шли по-

прежнему: я продолжал делать сеансы пневмоторакса, доктор Янда следил за терапевтическими больными. Единственно, чем отличались в это время работа санчасти, — тем, что на амбулаторный прием приходило меньшее число заключенных: забастовка уменьшила число простудных заболеваний и производственных травм. Начальник санчасти Евгения Александровна Яровая в зону не заходила.

Заключенные слонялись по зоне, ходили друг к другу в гости, делились услышанными новостями и старыми воспоминаниями. В бараках и домах поддерживалась чистота и порядок, велась систематическая уборка помещений, непрерывно работала баня, куда заключенные ходили организованно.

В начале июня начальство „Горлага” начало психологическую атаку на лагерь. Днем солдаты из войск МВД натянули вокруг зоны провода, на столбах установили репродукторы, и ежечасно по радио начали раздаваться призывы начальства к заключенным:

— Граждане заключенные! Вы — советские люди, временно изолированные. Не занимайтесь саботажем, не срывайте работ на объектах, выходите организованно на работу. Вы попали под влияние злостных врагов — не слушайте их, не подчиняйтесь им, выходите на работу!

Через два-три дня зону окружил целый полк автоматчиков МВД. Солдаты стояли вокруг зоны через каждые 5-10 метров, почти сплошной стеной. В двух-трех местах они разорвали двойной ряд колючей проволоки, сделав проходы из лагерной зоны, — одновременно по радио стали раздаваться призывы уже другого характера:

— Граждане заключенные, для вас открыта зона в таких-то местах. У кого еще сохранилось сознание советского гражданина — выходите из зоны группами

или по одиночке. Выходите из зоны безбоязненно, не бойтесь террора со стороны руководителей восстания. Вам будет сохранена жизнь — мы гарантируем это всем, кто найдет в себе смелость и мужество добровольно покинуть зону.

Начальство и усиленная охрана ожидали результатов от задуманного ими разброда среди заключенных. Но этой агитации поддались и бежали из зоны лишь единицы из всего многотысячного лагеря. Ни один заключенный из нашего казахстанского этапа, конечно, не изменил своим товарищам. На бегущих глядели с презрением, вслед им кричали: „Изменники! Предатели!” За несколько дней из зоны таким способом вышло около двух-трех десятков заключенных. Все понимали, что радиоагитация лагерного начальства не даст заветной свободы, зато на длительном лагерном пути и в этапах все равно когда-нибудь придется встретиться со своими товарищами, и предавшему будет вечное презрение. Однако усиленное оцепление, направленные на лагерь автоматы — все это производило устрашающе сильное впечатление.

Не поддавались на эту провокационную агитацию и в соседних, 5-м и 6-м лагерях, и там держались стойко, и всеобщая забастовка продолжалась.

В последних числах июня из Москвы вновь прибыл полковник Кузнецов из МГБ и официально заявил, что все наши требования переданы лично министру ГБ Л.П. Берия, и он их рассматривает в положительном смысле. Этот полковник бессовестно врал: к этому времени Берия уже был арестован и смещен со всех своих должностей. Мы же, заключенные, в то время об этом еще не знали: не знали ни об аресте Берии, ни о перевороте на верхах в далекой Москве. Однако увещевания Кузнецова не прекратили забастовку.

Во время его выступления у ворот, где собралась большая толпа заключенных послушать эту „высокую

птицу” из Москвы, кто-то из толпы бросил в полковника камень. То ли это была провокация, то ли сделано сгоряча от ненависти к полковнику, но автоматчики открыли огонь по толпе эков. Толпа разбежалась по баракам, домам и по зоне. Несколько раненых остались у ворот — их тут же подобрала охрана и вынесла за пределы зоны.

Обстановка накалялась с каждым часом. Несколько раз микрофон предоставлялся предателям, бежавшим из зоны в объятия начальства, и они, по наущению лагерной администрации и спасая свою шкуру, через громкоговорители, развешанные на столбах вокруг всей зоны, призывали:

— Товарищи-братья! Прекращайте сопротивление, выходите за зону, не поддавайтесь провокации кучки неисправимых антисоветчиков и ярых врагов народа!

29 июля лагерное начальство передало по радио на весь лагерь официальное сообщение:

— С сегодняшнего дня лагерь расформировывается. Часть заключенных будет отправлена из Норильска на материк. Списки отправляемых в первую очередь будут объявлены завтра.

Из окон нашего туберкулезного отделения, со второго этажа, высывались бледные лица заключенных-туберкулезников. Они смотрели на порванное в нескольких местах ограждение, на полк солдат с автоматами наизготовку, и в их глазах было какое-то безразличие ко всему этому. Обреченные на медленную смерть, они все сознавали, что чем бы ни кончилось восстание — их жизнь коротка. Каверны, инфильтраты с сопутствующей генерализованной туберкулезной интоксикацией — считанное время до момента, когда тебя накроют простыней, привяжут к ноге деревянную бирку, вынесут за зону в неизвестном направлении и покроют землей в никому неизвестном месте...

Безучастными были и японцы, бывшие военнопленные, — они сидели большой группой в одном из домов лагеря и не выходили никуда.

Утром 30 июня в зону впервые вошли надзиратели со списками и погнали вызываемых „с вещами” — значит, на этап. В этих длинных списках оказался и я. За мной пришли прямо в лагерную больницу. Из медицинских работников в списках оказался и доктор Борис Янда — мы оба собрали вещи и вышли к воротам, где уже собралась целая колонна наших товарищей (в основном, из казахстанского этапа). Надзирателям помогали собирать заключенных в колонну некоторые норильские, т.е. местные бригады, также бегавшие со списками по домам и баракам. Общая численность колонны составила около двух тысяч человек. Было объявлено, что всех нас отправят „на материк”.

Под усиленным конвоем мы вышли из лагеря в небольшую рощицу на окраине города. Здесь бригады из старых заключенных-норильчан (за несколько дней до этого бежавшие из зоны) избивали некоторых из нас палками. Тут же проводился обыск личных вещей, и часть вещей доставалась тем же изменникам-бригадирам. Спротивление и протест приводили к новым палочным ударам. Жестоко избитые, заключенные плелись дальше. Все это происходило на глазах у надзирателей и лагерного начальства.

Наконец, после обыска и избиения, нас снова собрали в колонну и повели через окраину по направлению к горе Шмидта. Так я расстался со своими учителями — врачами Нусбаумом и Рэймасте, так я расстался с Центральной лагерной больницей Норильска.

К концу дня конвой привел нашу колонну на пустой лагпункт (говорили, что когда-то там был женский лагпункт). Мы заселили бараки, освоили кухню, открыли амбулаторию и продолжали жизнь на этом отдаленном (за горой) лагпункте, не работая — без выхода

на работу. Здесь рядом со мной были и мои старые друзья по Экибастузу, по Караганде и Чурбай-Нуре и новые друзья, из норильчан. Здесь мы узнали трагическую новость о том, что в 6-м женском лагере при подавлении восстания был открыт огонь по безоружным и беззащитным женщинам и многие из них были убиты и ранены.

Мы прожили без дела, без работы на этом лагпункте около месяца в полной неизвестности об оставшихся и о нашем будущем. Мы были твердо уверены, что в Норильске нас уже не оставят, что нам, „бунтовщикам” и „забастовщикам”, суждено выехать из Норильска и Заполярья навсегда.

В 1963 г. один из моих норильских товарищей с Западной Украины, по его словам, слышал радиопередачу на русском и украинском языках — не то „Голос Америки”, не то „Свободу” — посвященную 10-й годовщине Норильского восстания. Он говорил мне потом, что в этой передаче были названы фамилии участников и организаторов восстания, в том числе и моя. Лично я такой передачи не слышал, но рассказ его произвел на меня впечатление.

Так это было или не так, говорили по радио о восстании с перечислением участников и руководителей или не говорили, но я был прямым участником и живым свидетелем этой эпопеи, запомнившейся мне на всю жизнь.

Участие мое в восстании было, действительно, довольно активным. Прежде всего, я строго выполнял указания главных руководителей. Ведя амбулаторный прием больных в Центральной больнице, я часто включал тех или иных заключенных в списки освобожденных от работы — оставаясь в лагерной зоне, они вели соответствующую подготовку к восстанию. По спискам, полученным от руководителей, я также клал в

стационар заключенных, заподозренных начальством в какой-нибудь деятельности, которым угрожал карцер или БУР.

В начале восстания мы с доктором Яндой участвовали в обсуждении требований, которые должны были быть предъявлены „высокому начальству” из Москвы. Наконец, как и все заключенные казахстанского этапа, я поддерживал все действия руководителей восстания и агитировал других за выполнение их указаний.

Последние недели пребывания в Норильске, на лагпункте, откуда видна была только тундра, проходили в полном бездельи. Мы отсыпались, отъедались (появился ларек, можно было купить какие-то продукты). Мы спорили с телогреек и бушлатов позорные лагерные номера.

В бараках распевались песни, писались стихи. Мужество и стойкость заключенных, рабский труд которых увековечен выстроенными шахтами, железными дорогами, улицами, домами, — эта стойкость сочеталась с какой-то душевной теплотой, лиричностью. Было очень странно смотреть на мужественного и сильного человека, в свободную минуту писавшего лирические стихи, посвященные жене, или семье, или друзьям. Было странно видеть человека, готового грудью идти на автомат конвоира и со слезами на глазах пишущего письмо в далекую Западную Украину или Белоруссию.

В последних числах июля 1953 года была дана команда всем собраться на этап. Как всегда, вызывали по личным делам („конвертам”): „Фамилия, имя, отчество? Статья? Срок?” Погрузили в грузовики под усиленным конвоем. Мы заметили, что на наших личных делах теперь сделана дополнительная отметка — красная полоса, это уже что-то само по себе означало.

На Норильском вокзале перегрузили в товарные вагоны, задвинули засовы и замки. Сквозь крохотные

окошки мы видели вдалеке серо-белый Норильск.

Состав тронулся, мы проезжали тот же путь, которым два года назад ехали сюда. За одним из поворотов увидели угольный городок Каэркан (вокруг него была масса лагерей, тоже относящихся к этому знаменитому „Горлагу“). Здесь тоже была забастовка, но как и чем она закончилась — нам не было известно.



## *Глава восьмая*

### НЕКОТОРЫЕ СУДЬБЫ

#### *ГАСАН ПАРВИЗПУР*

Гасан Парвизпур родился в знатной и богатой семье в городе Тавриз (Иран). С детства увлекался всем, что было связано с воздухоплаванием. По окончании средней школы отец отправил его в Англию, в летную школу. Там Гасан учился летать, одновременно изучил английский язык.

По окончании летной школы он вернулся в Иран и был произведен в офицеры военно-воздушных сил. Высокий, красивый смуглый молодой человек, Гасан был дисциплинированным и точным в выполнении заданий. Ему пророчили блестящую военную карьеру.

В один из летных дней 1949 года, поднявшись в воздух с военного аэродрома в Тавризе для очередного тренировочного полета, Гасан попал в сильный ураган. Песчаная буря и тучи заволокли небо и землю. И, как назло, в самолете отказала рация. Скоро и бензин оказался на исходе. Ориентируясь только по приборам,

Гасан сделал вынужденную посадку в песчаной пустыне.

Из-за сильного урагана он никак не мог вылезти из кабины, но вдруг увидел бегущих к нему людей. Объясняться пришлось жестами, так как они не понимали его языка, а он — их. Жестами незнакомцы предложили Гасану покинуть самолет и сесть в их автомобиль, видневшийся вдалеке. Его привезли в большой город, оказавшийся столицей Азербайджана — Баку, и поместили во внутренней тюрьме МГБ.

Начались ежедневные допросы: „Кто такой?“, „С какого аэродрома?“, „Какова численность самолетов там?“, „Какими сведениями о командном составе он располагает?“ и т. д.

Полковник в форме МГБ ведет протоколы на незнакомом ему русском языке без переводчика. Молодой иранский офицер наивно полагает, что человек, тоже в офицерской форме, расспрашивает его с целью помочь ему и что он, полковник, не может быть нечестным. Гасан Парвизпур подписывает непонятные ему бумаги.

А между тем, в протоколе значилось, что он, Гасан Парвизпур, выполнял специальное разведывательное задание на территории СССР. Не понимая содержания бумаг, Гасан продолжает подписывать все подряд. Через месяц его под конвоем отправили в Москву и вновь посадили во внутреннюю тюрьму, уже на Лубянке. Скоро его стал допрашивать другой следователь — теперь уже в присутствии переводчика. Следователь развернул газету „Правда“ и начал читать вслух сообщение ТАСС. „Такого-то числа военный самолет иранских военно-воздушных сил, проводящий разведывательный полет над территорией Советского Союза, был сбит огнем ПВО (противовоздушной обороны). Самолет разбился, летчик погиб“.

Только теперь Гасан понял, в какую ловушку он по-

пал! Вдобавок к этому переводчик перевел ранние протоколы, подписанные Гасаном в Баку. Полковник же цинично заявил: „Парвизпур, для родных ваших вы мертвы, никогда в Иран вы не вернетесь”. Гасан начал соображать, что им не столько нужен он сам, сколько современный и невредимый английский самолет. Теперь они могут разобрать его на части, изучить новейшие приборы, скопировать их и все прочее. Гасан стал требовать немедленной связи с иранским консулом или с кем-нибудь из иранского посольства. Но его настоятельные просьбы, естественно, остались безрезультатными. А через несколько дней ему в камеру тюрьмы принесли бумажку: „Постановление Особого Совещания”, в которой сказано, что он „за шпионаж” приговаривается к 25 годам Особых лагерей. Так он, одетый еще в английский костюм цвета хаки, прибывает в Экибастузский особый лагерь в Казахстане. Заключенные азербайджанцы сразу принимают его к себе, расспрашивают все подробности и немного подкармливают (Гасан очень ослаб и исхудал в тюрьме МГБ).

После лагерной забастовки в 1952 году, когда меня в числе других инициаторов этапировали из Экибастуза в Заполярье, Гасан Парвизпур оставался все в том же лагере, и о судьбе его мне не было бы известно, если бы не случайная встреча на одной из улиц в Москве, после реабилитации в 1956 году. Мы долго сидели в сквере и говорили. У него был уже на руках иранский паспорт, и он собирался домой к семье, которая находилась все эти годы в полном неведении.

### *ИОСИФ ЛЕРНЕР*

Иосиф Лернер родился в Бостоне (США) в семье коммерсанта. После окончания гимназии отец послал его в Японию продолжить учебу в Токийском Импе-

раторском университете. К тому времени отец Иосифа купил какую-то гостиницу в порту Дайрен (Манчжурия), оккупированном Японией.

Летом 1945 года молодой студент японского университета поехал на пароходе своего отца в Дайрен для урегулирования каких-то финансовых вопросов. А в сентябре в Дайрен вошли части советской армии. Американский консул предлагает Иосифу эвакуироваться вместе с ним, но Иосиф не закончил оформления каких-то финансовых документов. Он остается с американским паспортом в оккупированном советской армией Дайрене, уверенный в полной своей безопасности.

Через несколько дней, после эвакуации всех консульств и дипломатических миссий из Дайрена, Иосифа Лернера арестовывает СМЕРШ. И начинается обычный фарс: „Зачем здесь?“, „Какое задание дали?“, „Какие связи имеешь?“. Следствие ведется с помощью переводчика, плохо знающего английский язык. И как ни пытается Лернер доказать свою полную непричастность к предъявляемым ему обвинениям, все бесполезно. Через месяц ему приносят „Постановление Особого Совецания МГБ СССР“ за „шпионаж“ 25 лет Особого режима.

Мне довелось встретиться с Лернером в 1952 году в Заполярье, где тысячи заключенных, на пятидесятиградусном морозе строили город Норильск.

Не имея никакой связи с внешним миром, не говоря уже о своей семье, Лернер не получал с воли никакой помощи, поддерживали его, как и других иностранцев, только товарищи по заключению. После известного восстания в 1953 году Лернер с этапом бунтовщиков был отправлен на Колыму. Даже в тех ужасных условиях Лернера никогда не покидало чувство юмора. В порту Ванино на берегу пролива Лаперуза, он шутил: „Я сейчас ближе к дому, чем вы все“.

На Колыме он тянул лямку на самых тяжелых

работах. И только в 1954 году его отправили в Москву вместе с другими иностранцами, которых начали освобождать в первую очередь. А через год он нашел меня в Москве, часто ночевал у меня дома. Ему настойчиво предлагали принять советское гражданство и серпастый молоткастый, от которого он категорически отказывался. Тогда ему дали „удостоверение на право жительства без гражданства”, но проживание в Москве запретили. Он уехал в Калинин, где было специальное общежитие для иностранцев. Там ему удалось устроиться шофером на машину скорой помощи при калининской больнице. Иосиф часто приезжал в Москву. В 1956 году он получил разрешение на проживание в Москве и поступил на работу преподавателем английского языка в Педагогический институт имени Крупской. Но разрешение на выезд на родину он смог получить только в 1957 году. Всего Лернер просидел в лагерях девять лет и три года мыкался в ожидании визы и паспорта. Где он теперь? Может быть эти строки попадутся ему на глаза, и он откликнется?

### *МАРИНА ОВЧИННИКОВА*

Марина Овчинникова, молодая красивая блондинка с большими голубыми глазами проживала в центре Москвы вместе со своей матерью. Шли военные голодные годы. Москва сидела на карточках. Мать и Марина работали в разных местах, чтобы получать две карточки на хлеб.

Совершенно случайно Марина познакомилась с военным из Английской миссии. Он часто приезжал к ней на „джипе”, бывал в их маленькой квартирке. Через несколько месяцев они поженились, официально зарегистрировав брак по советским законам. Война окончилась. Молодой капрал должен был вернуться

в Англию для демобилизации. Марина подала официальное заявление на выезд с мужем, но получила отказ. Капрал попытался добиться разрешения для жены через английскую миссию. Безрезультатно. Так продолжалось целый год. Английская военная миссия закрылась — капралу пришлось уехать без жены.

Марина часто получала письма от мужа, в которых он сообщал какие меры предпринимает, чтобы добиться ее выезда из Советского Союза. Так прошло три долгих года!

В одну из ночей 1949 года в маленькую квартирку Марины Овчинниковой ворвались гебешники, арестовали ее и отвезли на Малую Лубянку в московское управление МГБ. Начинается фарс: „Как тебя завербовали англичане?“, „Какие задания ты получала?“. Марина все отрицала. Пройдя через все оскорбления и издевательства, она устояла: признания в шпионаже они от нее так и не добились. Пришлось изменить формулировку обвинения (редкий случай!) — Постановлением Особого Совещания Марина, как лицо неблагонадежное, по статье 7-35 Уголовного Кодекса была приговорена к пяти годам Особого женского лагеря.

В 1956 году я встретил Марину Овчинникову в нотном магазине. Она постарела, осунулась. За годы лагеря и последовавшей затем ссылки — потеряла всякую связь с мужем и одиноко жила в маленькой квартирке в центре Москвы.

Еще одна судьба...

*МАКС ГРИГОРЬЕВИЧ МИНЦ-МИНАКОВ*

Макс Григорьевич Минц, кадровый командир Красной Армии, еврей, перед самой войной закончил Академию им. Фрунзе и был назначен командиром в одну

из частей Белорусского военного округа. За короткое время гуманным отношением к подчиненным он снискал любовь и уважение. Тихий, спокойный и уравновешенный — Минц никогда не повышал голоса.

22 июня 1941 года его часть одной из первых попала в окружение. Положение становилось безвыходным. Минц собрал свою часть и сказал: „Если будем пробиваться, то в живых никто не останется. Остается одно — сдаться в плен. Это хоть какая-то надежда на спасение”. Он просит всех солдат и младших командиров высказать свое мнение. Решение принято единогласно. Зная, что если немцы узнают, что он еврей, ему грозит немедленная смерть, Минц обращается с просьбой не выдавать его национальности и объявляет, что меняет фамилию на „Минаков”. Заслышав немецкие голоса, Минц приказывает солдатам сорвать петлицы и знаки различия.

В одном из лагерей Минц с группой солдат и офицеров устраивает дерзкий побег. Однако немцы их догоняют, избивают и возвращают в лагерь. На этот раз в концентрационный. Здесь Макс Минц знакомится с пленными коммунистами и социал-демократами из разных стран и организует еще один групповой побег. И снова неудачно. Его переводят в другой концентрационный лагерь. Здесь Минц организует группу сопротивления, которая занимается агитацией, достает радиоприемник, по которому „ловят” Москву, распространяют листовки, поднимая дух и настроение заключенных.

По окончании войны Макс Минц-Минаков возвращается домой. Он едет в Белоруссию, находит жену и сына и начинает работать инженером в Москве. Но уже в 1949 году МГБ его арестовывает и сажает в одиночку в знаменитую Сухановку под Москвой. Ему

инкриминируют связь с немцами. „Как это, ты, еврей, сумел почти 4 года провести в лагере у немцев и не погиб?“ Минц просит связать его с свидетелями — со товарищами по лагерям в Германии, живущими в разных странах, но следствию это вовсе не нужно. Его переводят на Лубянку и через ОСО выносят постановление: „За измену Родине — 15 лет лагерей“. Так Макс Минц попадает в Особый лагерь в Норильск.

В 1952 году Макс Минц радушно принял наш казахстанский этап и принимал самое активное участие в забастовке-восстании в Норильске. Он и здесь пользовался любовью и уважением заключенных.

После реабилитации, в 1955 году, он защитил диссертацию и преподавал на факультете механизации Московского строительного института им. Куйбышева.

В многотомной Истории Отечественной войны, в разделе о героях сопротивления фашизму, помещена целая статья о Максе Минце. Его имя фигурирует во многих мемуарных книгах, написанных героями сопротивления.

В мае 1984 года я узнал, что Макс Минц-Минаков умер в Москве.

#### *АНДРЕЙ ШИМКЕВИЧ*

Фамилия Шимкевич уходит глубоко корнями в историю России. Эта дворянская фамилия фигурировала еще в Бархатных книгах Государства Российского. Одним из последних носителей этого рода был петербургский академик и крупный биолог, близкий друг И.П. Павлова. Его сын, полковник русской армии, увлекшийся литературой, рано ушел в отставку. Много писал, большей частью пьесы. На Западе, в литературном кружке на Капри, где литераторы группировались вокруг М.Горького, он знакомится с поэте-



сой русского происхождения из семьи замоскворецких купцов, некоей Кипресер. В 1913 году в Париже от этого брака рождается сын Андрей.

В 1917 году Шимкевич, оставив жену и сына, уезжает в Россию, где на сценах столичных и провинциальных театров идут его пьесы, в частности, Малый Академический театр поставил его пьесу „Вьюга”. Но чтобы новая власть не упрекала Шимкевича происхождением и прошлым, он заканчивает Академию им. Фрунзе, получает чин и обзаводится новой семьей.

Последняя его должность — начальник военного сектора Госплана СССР. Все эти годы он просит бывшую жену прислать ему в советскую Россию сына Андрея. Мать упорно отказывается. Она замужем за известным скульптором Липшицом, родом из Прибалтики. В их доме, в Булонье, часто бывают известные люди: Лэжэ, Пикассо, Эренбург, Луначарский и многие другие.

Лишь в 1927 году, воспользовавшись поездкой Луначарского в Москву, она отправляет с ним сына. Андрей прибывает в Москву в ноябре 1927 года с визой на месяц. Но отец задерживает сына на целый год. Уехать самостоятельно Андрей не может, ибо является несовершеннолетним, и в 1928 году он бежит из дома отца и становится беспризорником. В 1930 году его арестовывает ГПУ и обвиняет в шпионаже. Андрею дают 5 лет лагерей и отправляют в УСЛОН (Управление Соловецких лагерей Особого назначения). Там он знакомится с Варламом Шаламовым, который ему покровительствует и даже помогает в подготовке к побегу. Андрей бежит с Соловков и по дороге, в тайге, встречает еще двух беглецов, разруживших конвой и имеющих оружие, но без патронов. Втроем они добираются до Москвы. Здесь, пользуясь отсутствием отца, Андрей проникает в его квартиру, забирает револьвер, патроны, географические карты. Беглецы добираются до Батуми, где находят человека, который берется переправить

их в Турцию. Они отдают проводнику половину условленной суммы. Ночью, при переходе границы, они попадают в засаду. Во время перестрелки спутников Андрея убивают, а он, раненный, цепляясь за кустарник ползет все дальше вглубь турецкой территории. Обессиленный и измученный он, наконец, засыпает под кустом. На следующее утро он видит вдалеке конный разъезд и стреляет в воздух последним патроном, чтобы привлечь внимание турецкой охраны. Но вместо турков к нему приближаются советские пограничники, искавшие его всю ночь. Андрея привязывают к лошади и тащат до Батуми, где сажают в тюрьму. На следствие приезжает сам начальник ГПУ Грузии — Берия. Андрея переводят в Тифлис, в камеру смертников в крепость Метسخи. Там выносят смертный приговор опять через ОСО, по старой статье 56-6 и новой — 83 "переход госграницы".

Через некоторое время Андрею заменяют смертную казнь на 10 лет заключения и снова отправляют на Соловки, в УСЛОН. И снова он встречается с Варламом Шаламовым.

Во время следующего побега Андрей добирается до Москвы. Ночью ему удается перелезть через ограду сада французского посольства, что на Якиманке. Под опекой посла он проводит там 3 дня, затем по требованию властей посол вынужден выдать его. И снова Лубянка, ОСО и лагерь. В общей сложности он совершил 8 (!) побегов. И каждый раз получал новый срок, пока не „намотали полной катушки” — 25 лет.

В 1949 году он попадает в Экибастуз, где мы и познакомились. Андрей принимал участие в забастовке. Небольшого роста, тихий и спокойный Андрей никому не рассказывал своей биографии. Мы — старые зэки — узнали обо всем лишь в Москве, когда Андрей освободился. Но и в Москве КГБ не давало ему покоя. В 1958 году, наконец, он уезжает на родину, во Фран-

цию. Отец его был расстрелян вместе с Тухачевским в 1938 году.

Так гуляет в наши дни по Парижу „живая история” Архипелага, начиная с Соловков и кончая бериевскими Особлагами! Андрей провел в тюрьмах и лагерях 27 лет.

В 1981 году Андрей Шимкевич принимал участие в Комитете по делу Рауля Валленберга — „пропавшего” шведского дипломата, с которым сидел в одной камере на Лубянке в послевоенные годы.

### *МАМЕД АЛИЕВ*

... жаркое казахстанское лето 1951 года. На рабочем объекте, во время перекура, ко мне присел молоденький азербайджанец — Мамед Алиев. Ему было всего 19 лет. Дымя сигаретой, он рассказал мне свою историю. Ему было 17 лет, когда закончив среднюю школу, начитавшись и наслышавшись о чудесах американской жизни, он решил бежать за океан. Был и предлог — ссора с родителями. Зная, что все вагоны поезда Баку — Ереван, идущего вдоль границы с Ираном, запирают на замок, Мамед запасся трехгранным железнодорожным ключом, сел „зайцем” в поезд и, когда состав замедлил ход на изгибе реки Аракс, выпрыгнул прямо на насыпь. Прятался до темноты в кустах, а ночью переплыл Аракс.

Мамед благополучно добрался до иранского берега, но тут сразу был схвачен пограничниками, доставившими его в тегеранскую тюрьму. Пошли допросы с требованием признания в шпионаже. Он не признавался. Через два месяца его выпустили из тегеранской тюрьмы без права выезда из страны. Не имея никаких средств, он воровал еду на базарах, подрабатывал грузчиком. Не представляя себе как он может добраться до сказоч-

ной Америки, парень пошел в полицию и попросил... чтобы его отправили назад — домой, в СССР. Его передали пограничникам, а далее последовал уже знакомый сценарий: тюрьма в Баку, МГБ, допросы, ОСО и 25 лет по статьям „измена” и „нелегальный переход границы”.

После забастовки в Экибастузе он оставался в лагере и дальнейшая судьба его мне неизвестна.

## *Глава девятая*

### **МАГАДАН — СТОЛИЦА КОЛЫМСКОГО КРАЯ**

За годы нашего пребывания в Норильске на красноярской пересылке ничего не изменилось. Сразу по прибытию больных дизентерией эсков, а их было немало, поместили в госпиталь. Мы расположились по баракам в зоне. Как и год назад, в основном, контингент на пересылке состоял из блатных, но они, видя нашу сплоченность, не приставали. Здесь, на красноярской пересылке, мы впервые услышали стихи:

„Товарищ Сталин, вы большой ученый,  
В тюремном деле вы poznали толк,  
А я — простой советский заключенный,  
И мой товарищ — серый брянский волк.

За что сажу — по совести не знаю,  
Но прокуроры, видимо, правы,  
И вот сажу я в Туруханском крае,  
Где при царе бывали только вы.

И дождь, и снег и мошकारа над нами,  
А мы в тайге с утра и до утра,  
Вы здесь „из искры раздували пламя”,  
Спасибо вам, я греюсь у костра.

И вот сижу я в Туруханском крае,  
Где конвоиры строги и грубы,  
Я все это, конечно, понимаю,  
Как „обостренье классовой борьбы”.

Вчера мы хоронили двух марксистов,  
Мы их не накрывали кумачем,  
Один из них был „правым уклонистом”,  
Другой, как оказалось, не при чем.

Я вижу вас, как вы в парадной шапке  
И в кителе идете на парад,  
Мы рубим лес и сталинские щепки,  
Как раньше, во все стороны летят.

Живите ж сотни лет, товарищ Сталин,  
И как бы трудно не было здесь мне,  
Пусть будет много чугуна и стали,  
На душу населения в стране”.

Только в 1983 году, здесь, на Западе, я узнал, что эти популярные среди эжков строки принадлежат перу талантливого писателя — Юза Алешковского.

На Красноярской пересылке мы пробыли еще пару недель. К этому времени наши больные поправились. И снова в путь... На грузовиках на товарную станцию. Затем в пульмановские вагоны — „краснухи”. По 55-60 эжков. Обычная переключка. Конвой усиленный: в каждом вагоне по 4 автоматчика, на крышах ручные пулеметы. ЕДУТ НОРИЛЬСКИЕ ПОВСТАНЦЫ!

В полутемных вагонах через зарешеченные оконца читаем названия станций и городов: Канск, Тайшет, Нижнеудинск, Зима, Черемхово, Иркутск. Эшелон мчится без остановок, словно литерный поезд времен войны. Но вот все ринулись взглянуть на чудо природы - озеро Байкал. Внизу, под насыпью, вода прозрачна, видны камушки на дне, путь лежит прямо у самого берега. Затем пошли забайкальские знаменитые туннели.

... Чита, Сковородино, Свободный, Облучье. В Комсомольске на Амуре наш состав расцепили по 5 вагонов и на пароме переправили через широкий Амур. На другом берегу состав снова сцепили и через день прибываем в порт Ванино. На холме расположилась знаменитая пересылка, повидавшая за десятилетия миллионы эсков. Греет дальневосточное солнце. Нам ясно: везут на Колыму, другого пути отсюда нет. На Колымской трассе лагерь на лагере до самой Индигирки.

Вечером, когда все улеглись, выхожу из барака. Пахнет морем. У нас ночь, а в далекой Москве еще день...

Из рассказов о Колыме мы уже знали про знаменитый „Дальстрой” и о его начальнике — жестоком Гаранине, расстрелянном впоследствии властями, и сменивших его чекистах, о перевозке золота специальными самолетами из Магадана на „материк”.

Наутро началась погрузка нашего этапа на пароход. Гуськом по трапу шли мы в пасть железного зверя. Просторный трюм оказался мал для такого количества эсков. Расположились на железном полу, подстелив бушлаты и телогрейки. Сколько тысяч эсков уже повидали этот трюм?

Пароход был специально приспособлен для перевозок „живого товара”. Тусклые лампочки на потолке, небо видно лишь через квадратный проем на палубу. К проему два-три раза подходит привязанный на цепи бурый медведь, смотрит вниз — в трюм, на нас. Это

любимец парходной команды. И хоть его наверняка кормят лучше, чем нас, он тоже невольник — на цепи.

Некоторое время спокойно плывем через пролив Лаперуза, потом начинает качать. Шторм усиливается. Нас начинает бросать от стенки к стенке. Никто не может спать. Из бочки-параша выливается на пол содержимое. Так проходят два дня и две ночи. Жара и духота несомны. Раздеваемся до пояса. На четвертую ночь причаливаем в бухту Нагаево. На длинном причале невероятное оживление: все освещено прожекторами, суетятся какие-то чины в форме МВД, стоит целый полк солдат с автоматами и пулеметами. Видимо предупреждены о том, что придут норильские бунтовщики. Выстраиваемся в колонну и под обычное: „Внимание, заключенные, шаг влево, шаг вправо считается побегом, конвой стреляет без предупреждения” медленно идем по широкой мощенной дороге в город Магадан. Ни одного светящегося окна — город спит. На боковой улице я заметил вывеску: „Городской театр им. Горького”. Мне вдруг вспоминается популярный в довоенное время исполнитель романсов Вадим Козин. Помню его знаменитый романс: „Ночь светла над рекой, ярко светит луна и блестит серебром голубая волна...” Народ буквально осаждал прилавки, где продавались пластинки с его песнями. И вдруг он исчез. Одни говорили, что он сидит, другие — что работает директором городского Магаданского театра, мимо которого мы сейчас медленно бредем.

Но вот наша очередная обитель — магаданская пересылка. Бросаемся на нары и мгновенно засыпаем. Утром следующего дня разглядываем с возвышенности Магадан и порт Нагаево. Удивительная закономерность: все пересылки на возвышенностях. Так было в Куйбышеве, Челябинске, Красноярске, в порту Ванино. Местное начальство радуется поступлению бесплатной рабочей силы и сразу же начинает формиро-



вать бригады. Несколько недель работаем на строительстве огромного овощехранилища. Затем часть из нас направляют дальше. Начинается путь по знаменитой колымской трассе — главной артерии Колымы. Наша группа состоит из 450 человек. Прибываем в поселок „Аркагала”, который делится на два маленьких поселка: „Арес” и „Арек”. Здесь один из лагпунктов „империи Берлага” — колымских Особых лагерей. У эков нет номеров на одежде. Начисляются какие-то копейки за работу, открыт ларек, появились газеты и журналы. Эти перемены произошли всего три недели назад! Пока мы были в пути на Колыму! Раньше здесь был тот же режим, что и в Степлаге в Казахстане и в Горлаге в Норильске. *Значит режим сломлен! Значит не даром была наша забастовка в Экибастузе и восстание в Норильске!* Но еще не все требования выполнены: нет пока зачетов, нет пересмотра дел.

На этот раз меня посылают на кирпичный завод вместе с Иосифом Лернером, Анатолием Гусевым, Иваном Р., Степаном М., Павлом П. Работа тяжелая. В перерыве выходим погреться на солнышке. Но нет, не греет солнце колымское...

Прохладное колымское лето незаметно переходит в морозную осень. Мы по-прежнему работаем на кирпичном заводе. В октябре 1953 года лагерное начальство торжественно объявляет о введении зачетов. Еще одна наша победа! Но начальство хитрит: день за два будут засчитываться только работающим в шахте. Прикидываю свой срок. Мне осталось пять с половиной лет, которые могу „скосить” в шахте за три. Так я оказался в бригаде шахтеров. Получаю экипировку и валенки. Там, на глубине 2-х тысяч метров, вечная мерзлота. Впервые спускаюсь в шахту. Попадаю на самую тяжелую работу. Как же потом будет обидно, что этот тяжелый труд окажется напрасным вместе с

заработанными зачетами. Амнистия 1953 года нас, политических, не коснулась. Блатные получили по ней свободу, а мы продолжали „тянуть срок“.

Те, у кого были 25-летние сроки, не охотно шли в шахты — надо беречь здоровье, ведь сидеть-то сколько...

Летом 1954 года начальство объявило приказ: отправить всех иностранцев „на материк“. Уехали Иосиф Лернер, Станислав Нурко и кое-кто еще. Со Станиславом мы подружились еще в Норильске.

Зимой 1954-55 года я продолжал работать в шахте, когда начали кое-кого освобождать по отмененным старым приговорам.

В марте 1955 года старший лейтенант Андреев зачитал бумагу: меня вызывают на пересмотр дела. Решение датировано февралем, значит шло на Колыму месяц. Прощаюсь с товарищами. На попутной машине меня и еще нескольких заключенных отправляют в Магадан.

## *Глава десятая*

### **ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ АРХИПЕЛАГА**

Нам — нескольким экам, вызванным на переследствие, не повезло. На трассе был сильный мороз с ветром. Сели в кузов грузовика, прижавшись друг к другу, закрыв лицо шапками. Ветер задувал под бушлаты. Остановились на ночевку в поселке Ягодный. В бараках было много свободных мест. Утром пришел начальник лагеря и говорит:

— Спешить вам все равно некуда, придется сидеть в Магадане и ждать открытия навигации. Не лучше ли вам пока остаться здесь, в лагере.

Но в лагере оставаться мы не хотим и просим отправить нас скорее в Магадан. Через пару дней собирают группу. Снова конвой, грузовик и зимняя колымская трасса. Накануне мы прочли в многотиражке „Металл-Родине” о том, что образуется Магаданская область с центром — городом Магадан. В многотиражке сообщения о выполнении планов по добыче угля в разных лагерях. В углу — под названием газеты — гриф: „Вынос за пределы лагеря — запрещен”. Там же сообщения

уб успехах на приисках имени Гастелло и Александра Матросова. Оказывается эта газета распространялась в лагерях для бытовиков и блатных, но мы о ней не знали.

На магаданской пересылке встречаем тех, кто выехал раньше и уже освобожденных. Целыми днями бродят они по городу, а ночевать приходят за колючую проволоку, на пересылку.

Лишь в конце апреля с материка пришел ледокол. Задымили пароходы. Освобожденные побежали в город покупать билеты, нас же повели под конвоем в бухту Нагаево, в порт. И снова трюм парохода, но на этот раз пассажирского. Где-то наверху, на палубе, наши товарищи, бывшие зэки. Передают нам курево, еду. Конвой не препятствует. Видимо понимают, что настало другое время. На пересылке в порту Ванино долго не задерживают, сажают в столыпинский и везут до Хабаровска. Отдых на пересылке. Большая зона с грязными бараками. Контингент — блатные. Прошу офицера зачитать бумагу, по которой меня вызывают на переследствие в Москву. Весь текст — несколько строк: „Определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 19.02.1955 года № 4н-0553/55, вынесенное по протесту Генерального прокурора СССР Руденко. Коллегия в составе: полковника юстиции Лебедева, полковника юстиции Конова и полковника юстиции Рыбкина отменила постановление Особого Совецания МГБ СССР № 55 от 24.09.1949 года”. Запоминаю фамилии, даты, номер.

В бараке блатные „режутся” в карты. Матерщина, золотые фиксы, татуировка. Сидят на своих пуховых перинах и подушках — для блатных собственная постель — первое место. Надзиратель ведет еще одного блатного с постелью в барак. При его появлении в бараке все блатные встают и приветствуют. Говорит невнятно, видимо, из-за рубцов на губах:

— Что, суки есть здесь?

— Нет, Лева, — хором отвечают блатные, — здесь наша власть.

Вспоминаю рассказы „боцмана” в Экибастузе о вечной резне и войне между „законными ворами” и „суками”, нарушившими воровские законы. Леву угощают салом с белым хлебом, чаем. Весь следующий день он лежит на солнце. Когда я прохожу мимо, он окликает меня:

— Эй, мужик, поди-ка сюда!

Я подхожу. Лева внимательно смотрит на мои хромотовые сапоги.

— Уж больно у тебя прохоря хороши, может махнемся?

Я понимаю, что ему понравились мои сапоги, и он предлагает поменяться со своими, но он и безо всякого обмена может оставить меня босым.

— Понимаете, я выхожу на свободу. По законам перед выходом меня самого должны прибарахлить.

— Ты что, приблатненный? О законах наших толкуешь? А может ты фашист?

— Нет, не приблатненный и не фашист. Везут с Колымы в Москву на переследствие.

— Ну, коль так, другие пироги. Садись, тисни что-нибудь.

Я присаживаюсь и начинаю рассказывать про Москву. Вдруг подходит какой-то малолетка с здоровенным тесаком-финкой за пазухой.

— Левушка, уж так наточил, будь спок, ни одна сука в живых не останется.

Лева прячет финку в подушку и начинает рассказывать о себе. Он родом из Риги. Первый раз попал за воровство в 1940 году. Имеет на счету 7 лагерных убийств и столько же судимостей.

— Мне свободы не видать. Сроков у меня на десятилетку хватит. В общей сложности к 150 годам подой-

дет. Жизнь моя пропащая. Остается только сукам мстить.

Первый раз в жизни встречаю еврея, вора и убийцу. Вечером Леву — „пахана” — веселят все блатные. Они поют под гитару: „Проснулся рано — город спит, не спит тюрьма, она давно проснулась, а сердце вдруг так сильно защемит, как будто к сердцу пламя прикоснулось...”

Продолжаем путь в Москву. В соседнем купе сидят женщины-блатнячки. Матерятся во всю, не стесняясь конвоя. Наколки у них особенные: „Умру за горячую е...”, „Не умру под фраером”, и т.д.

Остановка в Иркутске. Местная тюрьма очень похожа на омскую — старинное здание с толстыми стенами и низкими сводами. Глядя на высокий каменный забор Иркутской тюрьмы, думаю — далеко ли еще до Москвы? Знакомлюсь в камере с пожилым мужчиной — священник Яворский. Получил 3 года, но не по политической, а по бытовой. Финансовые органы, обнаглев, с каждым годом все больше увеличивали налог. Хотя приход был большой: приезжали со всей Нижегородской дороги, даже из Орехово-Зуево, на ремонт храма средств не оставалось. К тому же власти выдали книжку квитанций, которые надо было выписывать за крещение, за отпевание, за исповедание.

А денег на ремонт церкви не давали. Так за „невывисанные квитанции” Яворского и посадили. На прогулках батюшка рассказывал живо и интересно о церкви, о вере. Потом, улыбаясь, говорил:

— Вот вы, медик, лечите тело человека, а ведь я, как и все священники, тоже врачую: мы лечим душу человеческую.

Несколько лет спустя, мы с женой приезжали в Леоново, которое находится в 2-х часах езды от Москвы, в гости к священнику Яворскому. Он пользовался боль-

шим уважением у мирян во всей округе до Владимира включительно, и во все праздники церковь была переполнена народом. В конце 60-х годов этот интеллигентный, образованный и добрый человек ушел в мир иной.

У заключенного бывают свои радости. На этот раз наш вагон от Иркутска подцепили к скорому поезду. Перед горным перевалом, ближе к Уралу, прицепляют к составу второй паровоз. Поезд берет подъем. Кто-то говорит, что скоро будем проезжать интересное место. Смотрим в маленькие окна. Дремучие леса по обе стороны дороги. Слева по ходу поезда большая скала. Глубоко внизу — ущелье. В скале высечен барельеф „вождя всех народов”. Нам удалось хорошо разглядеть его — поезд замедлял ход.

Кто и когда рискнул работать на такой высоте? И для чего, в этой глуши, среди дремучих лесов?

Несколько лет спустя я прочел рассказ Алдана Семенова „Барельеф на скале” и подумал, что творцы барельефа, как и сам автор рассказа, принадлежали к тем, кого Солженицын правильно именуется „ортодоксами”. Это коммунисты, потерявшие все, униженные и оскорбленные, продолжавшие до последней минуты верить в партию и вождя...

## *Глава одиннадцатая*

### СНОВА ЛЕФОРТОВО

— Привезли троих на переследствие. Принимайте!

— Ослы, зачем везли сюда, что не знаете, что здесь давно нет внутренней тюрьмы?

— Да в направлении сказано, что в КГБ, вот и привезли.

— Шуруйте в Лефортово, теперь там все следственные и переследственные.

Воронок разворачивается. Переезжаем Яузу и на Красноармейской сворачиваем на боковую улицу. Автоматически открываются двойные серые железные ворота и въезжаем во двор. Тюремная охрана принимает нас, предварительно пересчитав. На моем конверте (личном деле) две красные полосы. У других таких отметок нет. Ведут на первый этаж и запирают в одиночке. Железная кровать. Чистое постельное белье. Непривычно. Дежурный „вертухай” бесшумно прогуливается по коридору, заглядывая иногда в глазок. Тишина. В камере довольно светло — можно читать. В углу цементированное „очко” со сливом.



Чемодан свой сдал еще при приеме, но ремень и шнурки не отобрали. Видимо, изменились правила на Лубянке.

Входит дежурный офицер:

— Какие будут пожелания?

Я, не задумываясь:

— Во-первых — хочу свидания с родными, я не видел их почти 7 лет. Второе — у меня на счету заработанные деньги — прошу курево и что-нибудь из еды, из ларька. Меня везли 75 дней. Можно ли, чтобы побыстрее началось переследствие?

— Свидания будут зависеть от вашего следователя, но мне кажется, вам их пока не дадут. Ларек обеспечим сразу и пришлем библиотекаря со списком книг.

Я не верил своим ушам...

После пересылок и шума вагонов тишина Лефортовской тюрьмы действовала успокаивающе. Спать можно было даже днем. Но, когда усталость проходила, тишина начинала действовать раздражающе.

На следующий день принесли список продуктов. Появилась библиотекарша. Поражаюсь не только количеству книг, но и авторам, и названиям. Можно брать сразу 4 книги на неделю. Беру Бунина, воспоминания Анны Григорьевны о Достоевском, два романа Достоевского — на неделю хватит.

Тюремная еда, однако, ничем не отличается от прежней: пайка хлеба, два кусочка пиленного сахара и кофесурогат. Гулять выводят в маленький дворик, окруженный высокими кирпичными стенами. Читаю взахлеб. На многих книгах стоят экслибрисы бывших владельцев: „из библиотеки графа Воронцова” или графа Шереметьева. Есть и дореволюционные издания Сытина, Маркса и других; книги давно забытых издательств „Светоч” и „Земля и фабрика”. О происхождении этой библиотеки догадаться нетрудно — все это конфискованные книги. В списке было много книг,

запрещенных на воле. Здесь свободно читаю Булгакова, Леонида Андреева, ранние произведения Эренбурга 20-х годов, давно изъятые их всех библиотек, впервые знакомясь с Бабелем. В тюремном каталоге были даже имена писателей, посаженных в 1949 году, — Бергельсона, Маркиша и др. Поистине, правая рука не знает, что делает левая.

Через неделю — первый допрос.

— Я следователь Московского управления КГБ, Лев Александрович Мальцев. Мне поручено разобраться в вашем деле, уточнить некоторые вопросы.

— Гражданин следователь, если вы будете вести следствие так же, как вели его на Лубянке в 1949 году с ночными допросами и карцерами, то напрасно везли меня с Колымы. Кроме того, я требую немедленного свидания с родными, которых не видел около семи лет.

— Могу сразу вам заявить, что ночных допросов не будет. Я буду приезжать сюда только по утрам, по мере необходимости. Надо кое-что уточнить, чтобы мы могли вас освободить.

Смотрю на его штатский костюм, университетский значок и вспоминаю моих прежних следователей. Матиека и Герасимова. Мальцев говорит спокойно, с улыбкой. Но для меня органы остаются органами. Кто знает, что кроется за этой улыбкой.

— Что касается свидания, при всем желании дать его не имею права. Какие у вас претензии к содержанию в тюрьме?

— Никаких.

— Тогда давайте, не теряя времени, приступим к делу.

Он открывает папку с моим делом, листает. На обложке гриф: „Хранить вечно”. Неожиданно спрашивает:

— Не были ли вы знакомы с американцем по фамилии Пуп Смит?

— Нет, я такого не знал. К Сиднею Голендеру приходило много разных американцев, но я эту фамилию никогда не слышал.

Мальцев задает мне еще несколько вопросов и тут же сообщает, что статья 58-10 на меня не распространяется.

— Кстати, ваш друг, который сообщил о ваших прежних высказываниях, отказался от своих показаний, мотивируя, что они давались им под угрозой.

— А кто же это — мой друг?

— Виктор Гельфман.

И я вспоминаю высокого молодого инженера. Кто-то познакомил нас. Я даже не помню, что говорил ему тогда.

Через пару дней Мальцев снова вызвал меня и начал спрашивать о знакомстве с военным атташе Мексики Камарго Ареналем и его женой Галиной.

Вопрос упирался в переданное письмо. Я полностью отрицал его антисоветское содержание и просил Мальцева дать мне очную ставку с Галиной, зная, что она оставалась в Москве после отъезда мужа. Но, когда следователь сказал, что ни очной ставки он дать не может, ни предъявить письма, я еще раз убедился, что письма в деле нет. На следующем допросе я потребовал очной ставки с Евгением Бейлиным. И на этот раз последовал отказ. Это подтвердило мои предположения, что Бейлин — стукач и сотрудничал с КГБ.

Мальцев вызывал меня еще пару раз и на мой вопрос, долго ли я еще буду томиться в одиночке, ответил:

— Расследование я закончил. Отправляю ваше дело на окончательное решение в высшие инстанции. Мне кажется, что вас должны скоро освободить.

Мне казалось, что вот-вот наступит конец моим мучениям, но не тут-то было! Дело мое пошло гулять по

„высоким инстанциям”, и чинуши, перестраховываясь, не хотели его закрыть. То один офицер приходит в камеру и зачитывает мне бумажку: „Вы числитесь за Главной военной прокуратурой”, то через пару недель другой: „Вы числитесь за Генеральным прокурором СССР, Руденко”. Через полмесяца снова: „Вы числитесь за Верховным Судом СССР”. Затем: „Вы числитесь за Управлением КГБ по Москве и области”. Циркулюс вициозус — порочный круг. Дело мое вернулось назад. Дескать, сами заварили 7 лет назад кашу — сами и расхлебывайте!

Через пару дней высокие чины совершают обход Лефортовской тюрьмы. Слышу, как отпирают мою камеру. На пороге — полковник, окруженный офицерами. Спрашивает:

— Есть претензии по содержанию в тюрьме или по делу?

— По содержанию — нет, а вот по делу — есть. Уже более шести месяцев я в одиночке. Когда кончится эта волынка? Уж лучше назад — в лагерь! Кстати, как ваша фамилия?

— Я из Главной прокуратуры. Моя фамилия Терехов. Я немедленно займусь вашим вопросом.

Продолжаются тюремные будни. Хожу на прогулки. Читаю Надсона, Мережковского, Леонида Андреева. Наконец, 7 октября ведут меня в следственный корпус. Встречает Мальцев. Улыбается. Объявляет, что мое дело прекращено и завтра я буду свободен. Я прошу его позвонить родным и предупредить. Называю номер телефона. Он отвечает, что уже позвонил.

Последняя ночь в одиночке. Не спится. Все мысли там, на воле. Утром сдаю книги. Ведут под конвоем в управление тюрьмы. Надзиратель обыскивает, находит альбом песен и стихов, но не отбирает. Затем появляется начальник тюрьмы, полковник Петров, и вручает мне справку со штампом: КГБ СССР, Ле-

фортовская тюрьма. Справка о том, что с 21 апреля 1949 года по 8 октября 1955 года я находился в местах заключения по Постановлению ОСО СССР № 55 от 24 сентября 1949 г. Далее следует статьи и что освобожден по Постановлению УКГБ Москвы и области в соответствии со ст. 204 часть 2 УКП. Я спрашиваю полковника, что значит статья 204 часть 2, и в ответ слышу: „За отсутствием улик”. Позже, на воле, я узнаю, что часть 1-ая этой статьи гласит — „За отсутствием состава преступления”. Пытаться разобраться — бесполезно. Если нет улик, то и нет состава преступления, А если нет состава преступления, то тем более не может быть никаких улик. Но и эта, часть 2-я, дает право считаться реабилитированным. Полковник просит расписаться на бланке под стандартным текстом о том, что в течение 2-х лет я не имею права ничего разглашать о пребывании в местах заключения. Выходит, что на 3-й год — уже можно? Нелепо выглядит в справке формулировка „в местах заключения”. Я был все годы в Особых лагерях, а по этой неопределенной фразе можно думать, что угодно (начиная с закрытого централа и кончая какой-нибудь „шарашкой” или даже обычным ИТЛ).

Выхожу через проходную. В бушлате, сапогах, с фанерным чемоданчиком. Солнечный осенний день. Под ногами желтые и красные кленовые листья. На углу, возле Лефортовской тюрьмы стоит отец. Идем переулком к Красноказарменной, садимся в трамвай. Дома ждут мать и Вероника. Обе в слезах.

Семь лет жизни. За что?

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На следующий день я прописался в милиции и получил паспорт. Мы с Вероникой Андреевной Воронкиной оформили в загсе наш брак, и отец достал нам „по благу” путевки в дом отдыха под Звенигородом. Я готов был днями напролет бродить по подмосковным лесам и рощам, после казахстанских степей, после тундры в Норильске, после сопок Колымы.

Судьба оказалась немилостива и к моим мучителям. Следователь Матиек, уволенный из органов и работавший последние годы в милиции, умер. Сравнительно молодым умер стукач Бейлин.

Нужно было заканчивать институт. Мой 3-ий московский за годы моего „путешествия в страну ЗЭКА” был переведен в Рязань. Пришлось ехать туда за документами. В центре Рязани, в помещении старой церкви, находился городской архив, где разыскали мои ведомости и выдали академическую справку. В Первом Московском мединституте мне предложили сразу пойти на 5-й курс, при условии немедленной сдачи экзаменов за 4-й. С большой благодарностью вспоминаю имена своих профессоров, которые относились ко мне с пониманием и сочувствием.

Через год у нас родилась дочь Ирина. В 1958 году я получил диплом врача и начал работать.

Время шло. На XX съезде партии Хрущев размахивал документами, найденными в архивах политической охраны, и разоблачал „культ личности”. Эренбург написал свою „Оттепель”. Вышел „Один день Ивана Денисовича” Александра Солженицына. Многих бывших подручных „вождя” направили в „ссылку” — послами в разные страны. (Аристов, Мухитдинов, Пегов, Полянский). „Вышли на пенсию” Молотов и Каганович.

Мы, старые зэки, считали, что с прошлым покончено, но как показали дальнейшие события мы ошибались.

В новом уголовном кодексе оставлена все та же пресловутая статья — „антисоветская агитация”, только под другим номером (70).

Меняются вожди, меняется конституция, меняются кодексы, но Архипелаг живет, как и много лет назад...

*Москва. Зима 1979-1980 г.*

При утере не возобновляется.  
Визам не аннулируется.

С С С Р  
**КОМИТЕТ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
при **СОБЕТЕ МИНИСТРОВ СССР**

Секретовская Терьма

№ 0 " октября 1965 г. С И Р в л к а в 100/10

№ .....  
гор. Москва

Выдана гр-ну САДАШ Семену Львовичу, 1921 года рождения, уроженцу гор. Москва, еврей, гр-ну СССР в том, что он с 21/10-1949 года содержался под стражей в местах заключения МВД СССР, как осужденный 24/11-1949 года Особым Советом при МГБ СССР по ст.ст. 58-1 "а", 58-10 ч. 1 и 107 УК РСФСР к 10-ти годам ИТЛ.

Согласно постановлению УКРБ при СМ СССР по Московской области о прекращении уголовного дела от 7/11-1955 года в соответствии со ст. 204 п. "с" УК РСФСР, САДАШ С.К. 6/11-1955 года из-под стражи освобожден и следует к избранному месту жительства: г. Москва, ул. Аданова, дом 4, кв. 2.



Секретовская Терьма  
М. П. ПРИ  
СТРОЕ СССР ПО ПОЛКОВНИК  
*[Signature]*

Секретовская Терьма  
*[Signature]*

Эта справка — все, что я получил за шесть с половиной лет хождения по островам Архипелага.





Исп. вл. №.

января 1952 г.

17  
МК-30729-79

ПРОКУРАТУРА СССР

Главная Военная Прокуратура  
Советской Армии

Генерал-майор Веронике Андреевне.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА  
ВОЙСК МВА СССР

Москва, ул. Кирова, 41.

Москва 201, Мосрыбкомбинат  
Д. №8 кв. 2.

Сообщаю, что Ваша жалоба от 2/1-52г. адресованная Председателю Совета Министров СССР, по делу БАДАШ Семена Льевича проверена Военной Прокуратурой войск МВА СССР и оставлена без удовлетворения.

Проверкой установлено, что БАДАШ С.Ю. осужден справедливо, вина его доказана.

Для опротестования решения по его делу оснований не имеется.

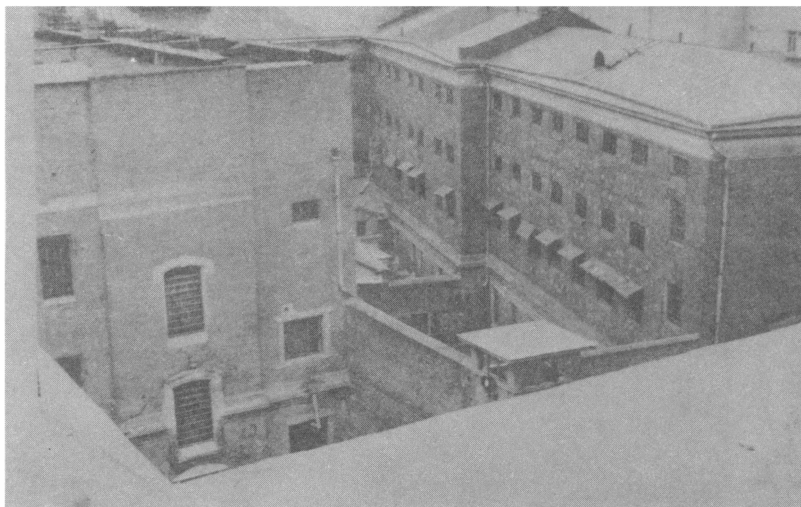
По вопросу получения свидания с заключенным БАДАШ, Вам надлежит обратиться к администрации исправительно-трудового лагеря в котором он отбывает наказание.

ПОМ ВОЕННОЮ ПРОКУРОРА ВОЙСК МВА СССР  
ПОЛКОВНИК КИСТИЦИМ: -

ЛЕНЮ В-КРАСКО/.

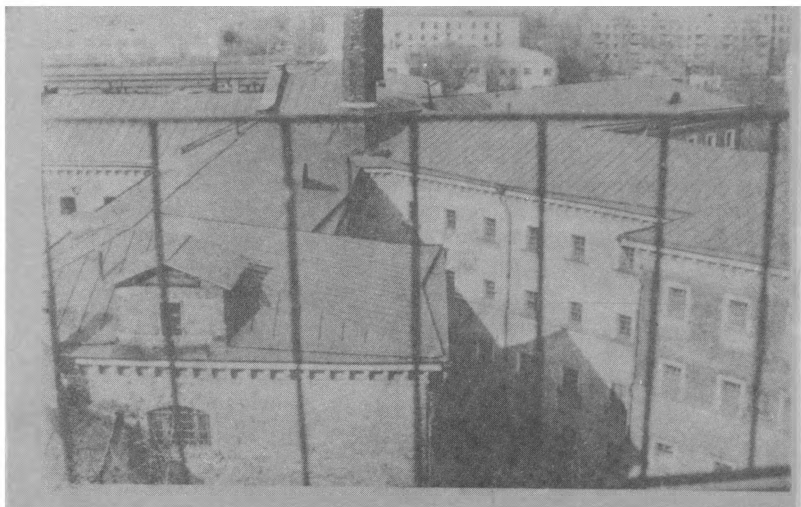
нд. 17.1.

Такой ответ получила моя жена из Главной Военной Прокуратуры на ее ходатайства.



СИЗО МВД "БУТЫРКИ", г.МОСКВА

**Бутырская тюрьма.**



СИЗО КГБ "ЛЕФОРТОВО", г.МОСКВА

**Тюрьма „Лефортово”.**



**Все дома на этой площади построены руками эков при 50-градусном морозе. Это и был тот самый знаменитый „Горстрой”.  
Снимок сделан в 1956 году.**



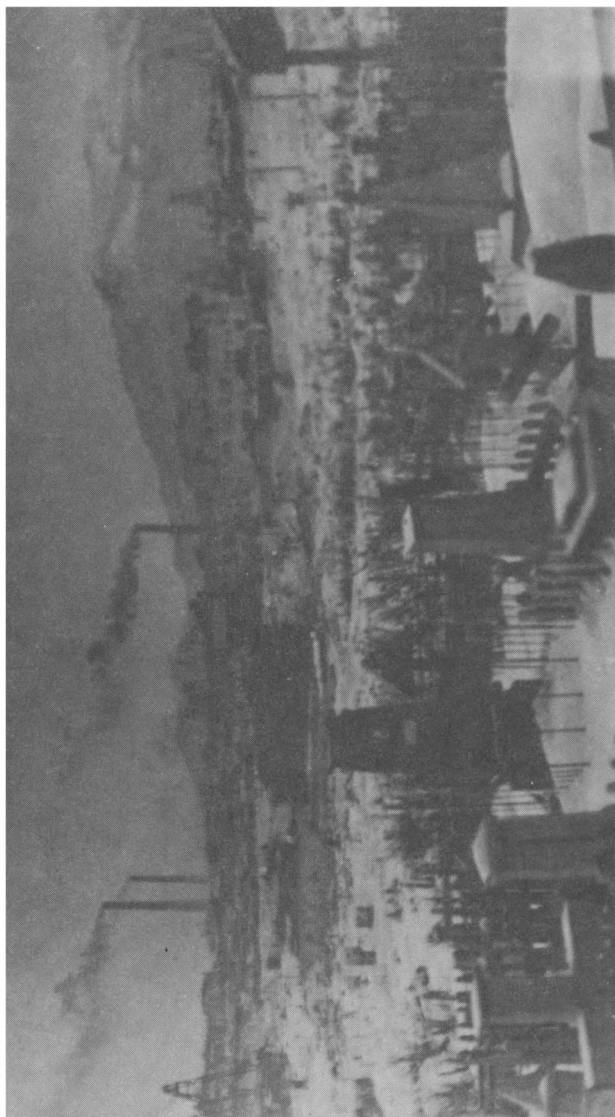
**Андрей ШИМКЕВИЧ**  
1930 г. Перед побегом из Соловков.



**Семен БАДАШ.**  
1942 г. Фронтной снимок.



**Вероника ВОРОНКИНА.**  
1952 г. Жена автора.



Вид на норильский медеплавильный комбинат из нашего 5-го лагпункта „Горлага”.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .....	5
ГЛАВА 1. Москва послевоенная .....	9
ГЛАВА 2. Арест и Лубянка .....	17
ГЛАВА 3. Первый этап. Первые уроки .....	31
ГЛАВА 4. Экибастуз — лагерь и боевое крещение ...	38
ГЛАВА 5. Лагпункт Чурбай - Нура .....	59
ГЛАВА 6. Заполярье. Город Норильск .....	63
ГЛАВА 7. Норильское восстание .....	68
ГЛАВА 8. Некоторые судьбы .....	80
ГЛАВА 9. Магадан — столица Колымского края ....	92
ГЛАВА 10. Возвращение из Архипелага .....	98
ГЛАВА 11. Снова Лефортово .....	103
Вместо послесловия .....	109





**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „ПОСЕВ-США”**

ГИНЗБУРГ Е. Крутой маршрут, пред. А.Аксенова, в 2-х т.	34.00
ПУШКАРЕВ С. Роль церкви в истории России, вкл. очерк Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 120 стр.	9.00
ДАВАТЦ В. ЛЬВОВ Н. Русская армия на чужбине, 124 стр.	8.50

готовится к переизданию:

КУЗНЕЦОВ А. Бабий Яр.

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „ЭФФЕКТ” (Нью-Йорк, Тель-Авив)**

БАДАШ С. Колыма ты моя, Колыма. 1985, 120 стр.	10.00
БАРРОН Дж. КГБ, 1983, 544 стр.	распродано
БАРРОН Дж. Последний полет лейтенанта Беленко. 1986, 240 стр.	15.00
ВАЙЛЬ П, ГЕНИС А. Потерянный рай (2-е изд.). 1986, 320 стр.	в печ.
ВЕРБИЦКИЙ А. Исповедь бродяги. 1984, 200 стр.	8.00
ГЕНДЛИН Л. Расстрелянное поколение. 1980, 399 стр.	18.00
ГЛАДИЛИН А. Парижская ярмарка. 1980, 160 стр.	распродано
ГЛАДИЛИН А. ФССР (Франц. Сов. Соц. Респ.). 1985, 169 стр.	10.00
ДРЕЙЦЕР Э. Пещера неожиданностей. 1985, 156 стр.	8.50
ЕЛКА – детский православный сборник. 1983, 144 стр.	8.00
ЗАВАЛИШИН В. Казимир Малевич. 1986, 180 стр.	в печ.
КАЛИБЕРДА К. За колючей проволокой. 1974, 120 стр.	6.00
КАНДЕЛЬ Ф. Врата исхода нашего. №980, 230 стр.	6.00
КАНДЕЛЬ Ф. Я начинаю сначала... – альбом. 1979, 40 стр.	5.00
КОЗАКОВ М. Человек, падающий ниц. 1980, 226 стр.	6.00
КТОРОВА А. Лицо Жар-птицы. 1983, 224 стр.	8.00
ЛАЗАРИС В. Диссиденты и евреи. 1981, 200 стр.	8.00
ЛАНДБУРГ М. С тобой и без тебя. 1980, 130 стр.	распродано
МАРГОЛИН Ю. Несобранное. 1975, 440 стр.	12.00
МАРГОЛИН Ю. Путешествие в страну ЗЭ-КА. 1976, 416 стр.	распродано
НЕКРАСОВ В. По обе стороны стены. 1984, 214 стр.	14.00

ПЕТРОЧЕНКОВ В. Осень века (стихи). 1983, 152 стр.	8.00
ФЛИСФИШ Э. Кантонисты. 1982, 304 стр.	12.00
ФРЕЙДИНОВ И. В биотроне. 1982, 142 стр.	4.50
ФРЕЙДИНОЙ И. Хлебница старая, а хлебом почему-то не пахнет. 1982, 142 с.	4.50
ФРЕЙДИНОВ И. Копыло-жидо-драковка. 1982, 120 стр.	4.50
ЧАВЕЦ Дж. Любовница перебежчика. 1986, 240 стр.	15.00
ШУЛЬМАН М. Бутырский декамерон – в 2-х кн. 1978 г.	распродано
ЯРОВ Р. Музыка для усталых любовников. 1985, 240 стр.	11.00
КРЕЙД В. Восьмигранник (стихи). 1985, 96 стр.	в печати

**Effect Publishing Inc.**

RUSSIAN BOOKS  
PRINTED OUTSIDE USSR

501 Fifth Ave. Suite 1612  
New York, NY 10017  
Ph. (212)557-1321

**БЛАНК ЗАКАЗА — ORDER BLANK**

Прошу прислать мне следующие книги:

I would like to order the following titles:

<i>автор</i>	<i>название книги</i>	<i>дата</i>	<i>цена</i>

*ВСЕГО*

*Жителей Штата Нью-Йорк просим добавить налог 8 %*

*ЗА ПЕРЕСЫЛКУ /из расчета 1.00 дол. за одну книгу/*

*ВСЕГО*

Please ship them to:

Имя и фамилия \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Прилагаю чек на сумму \_\_\_\_\_

Semeyon BADASH  
Kolyma ty moia, Kolyma...  
a biogfaphical novel

